

СТРЕЛЕЦ

апрель

«Стрелец» —
ежемесячник литературы, искусства
и общественно-политической мысли

4

1984
\$3.50

в номере:

проза

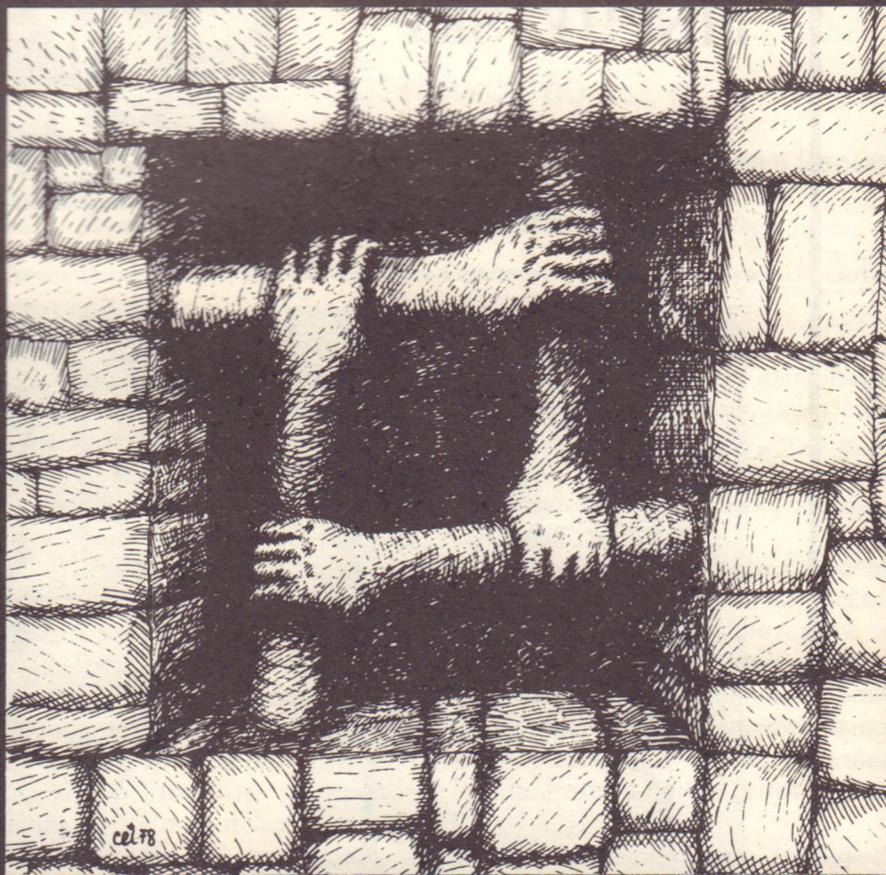
поэзия

литературная
критика

искусство

литературный
архив

интервью





Galerie Marie-Thérèse

73, Quai de la Tournelle, 75005 Paris. Tél.: 325-34-37

RABINE

NIEMOUKHINE

PINCHEVSKY



du 14 Mars au 14 Avril 1984



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:

НИНА АЛОВЕРТ
ВАЛЕНТИН-МАРИЯ ТИЛЬ
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:
201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:
Alexandre Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

На первой странице обложки рисунок Вячеслава
Сысоева "Права человека"

- 4 Ирина Ратушинская — Стихи из зоны
6 Николай Климонтович — Глава из романа
12 Сергей Стратановский — 7 стихотворений
14 Юз Алешковский — ПУПОПРИПУПО. Рассказ
23 Марина Темкина — Стихи

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- 25 Сергей Юрьенен — Проза Андрея Молчанова
27 Майя Муравник — Карусель жизни и судьбы

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- 29 Анатолий Мариенгоф — Бритый человек. Роман

ВОСПОМИНАНИЯ

- 34 Вячеслав Сысоев — С магнитофонной пленки

ИНТЕРВЬЮ

- 39 10 лет журналу «Континент» — Интервью с главным редактором

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

- 43 Анатолий Копейкин — Новая русская галерея в Париже

- 44 Вадим Крейд — Судьба эрмитажной картины

Произведения Ратушинской, Климонтовича, Стратановского, Сысоева получены по каналам Самиздата

ОТ РЕДАКЦИИ

"Только Франция защищает Сысоева", — заметил американскому журналисту Оскар Рабин. Может быть, это сказано слишком сильно, — были статьи в защиту известного художника-карикатуриста в газетах и журналах США. Но, конечно, во Франции, точнее в Париже, кампания за освобождение Вячеслава Сысоева, отбывающего срок наказания по ложному обвинению, приняла беспрецедентный характер.

В конце февраля здесь вышла по-французски книга Сысоева "Ходите тихо, говорите тихо", а 3 марта AIDA (Международная ассоциация защиты художников) организовала демонстрацию у советского посольства. Программа этого выступления включала в себя интересную идею: художникам предлагалось запечатлеть на полотнах и рисунках советское посольство. Разрешение на эту акцию от французских властей было получено. Но в последний момент советские запротестовали, и акция была запрещена. Похожее на крепость посольство со всех сторон окружили специальные полицейские отряды.

"Франция — свободная страна" — скандировали манифестанты. "Свободу Сысоеву!". Президент AIDA, известный театральный режиссер Ариана Мнушкина заявила, что ее организация добьется того, что задумано. И действительно, 24 марта 110 художников встали с мольбертами напротив посольства и два часа запечатлевали мрачное здание. Французское телевидение и пресса широко освещали обе манифестации в защиту Сысоева, тем более, что на вторую приехал очень популярный ныне во Франции Ив Монтан. Через неделю после второй манифестации в парижском театре Солнца (Theatre du Soleil) состоялся вернисаж работ, написанных художниками — русскими, французами, аргентинцами, поляками. А еще раньше в Париже открылась выставка рисунков Сысоева, на которой экспонируются также произведения знаменитых французских карикатуристов, посвященные Вячеславу Сысоеву.

Хотелось бы надеяться, что все это поможет спасти Сысоева, которому, по сведениям, полученным из Москвы, пытаются в лагере "прислать" новый срок.

Ирина Ратушинская

**СТИХИ ИЗ ЗОНЫ
СТИХИ ИЗ ЗОНЫ
СТИХИ ИЗ ЗОНЫ**

* * *

*Кому мечта по всем счетам оплатит,
Кому позолотит пустой орех...
А мне скулит про бархатное платье,
Вишневое и пышное, как грех.
О, недоступное! Не нашей жизни!
И негде взять и некуда надеть...
Но как мне хочется!
Резонной укоризне
Наперекор – там, в самой тесноте
Сердечных закутьяр¹ – цветет отравы
Тяжелых складок, темного шитья...
Ребяческое поправное право
На красоту! Ни хлеба, ни жилья –
Но королевских небеленых кружев,
Витых колец, лукавых лент – ан нет!
Мой день, как ослик, взнуздан и нагружен,
А ночь пустынна, как тюремный свет.
Но я в душе – что делать! Виновата! –
Все шью его, и тысячный стежок
Кладу в уме, застегивая ватник
И меряя кирзовый сапожок.*

Апрель 1983 г.

¹ Так в получ. копии; м.б. след. читать "закутков"

* * *

*Круто сыплются звезды, и холод в небесных селеньях,
Этот месяц на взмахе – держись, не ослабя руки!
Закрываешь глаза – и за гранью усталого зренья
Конькобежец, как циркуль, размеренно чертит круги.
В черно-белой гравюре зимы исчезают оттенки,
Громыкает глаголом суровое нищенство фраз.
Пять шагов до окна и четыре от стенки до стенки,
Да нелепо моргает в железо ослепленный глаз.
Монотонная хитрость допроса волочитя мною.
Молодой конвоир по-солдатски бесхитростно груб...
О, какое спокойствие – молча брести через зиму,
Даже "нет" не спуская с обметанных треснувших губ!
Снежный маятник стерся: какая по счету неделя?
Лишь темнее глаза над строкою да лоб горячий,
Через жар и озноб – я дойду, я дойду до апреля!
Я уже на дороге. И Божья рука на плече.*

Октябрь, 1982 г.

IRINA RATUSHINSKAYA

JOSEPH BRODSKY
MARINA TEMKINA
CAROLYN FORCHÉ
GRACE SCHULMAN
ILYA NYKIN

MONDAY, MARCH 5, 8PM

GOVAN MBEKI

THE PEN AMERICAN CENTER
111 E. 11TH ST. 11TH FLOOR
NEW YORK, NY 10003

SIPHO SEPAMLA
INGOAPELE MADINGOANE
MTUTUZELI MATSHOBA

DENNIS BRUTUS

JUNE JORDAN

PHILIP LEVINE

MONDAY, APRIL 23, 8PM

**PEN AMERICAN CENTER PRESENTS READINGS
FROM CENSORED OR IMPRISONED WRITERS**

SILENCED VOICES

AT  450 COLUMBIUS AVE / 82 ST.



Плакат Сергея Блюмина, шрифт Марка Шварца

ПИСЬМО КАРАНДАШОМ

*Я знаю, что его не получить
И не отправить. В мелкие клочки –
Как только домараю – черновик.
Потом. Когда-нибудь. Ведь ты привык,
Читая между недошедших строк,
Все понимать. И в крошечный листок
Я умещаю ночь, не торопясь.
Куда спешить, когда минувший час –
Все в тот же срок, неведомо какой.
И шевелится слово под рукой –
Скворчком! Шорохом! Движением ресниц!
Все хорошо. Но ты пока не спишь.
Чуть позже я узлом скручу печаль,
Закину голову, и на уста – печать –
Улыбку, княже! Хоть издалека!
Ты чувствуешь: тепла моя рука –
По волосам! По впадинке щеки!
Как декабрем подуло на виски...
Как похудел... Еще приснишь, еще!
Открыть окно. Подушке горячо.
Шаги за дверью, и на башне бой;
Два, три... Ты помнишь, а ведь мы с тобой
Не попрощались! Это ничего.
Четыре... Все. Какой тяжелый звон!*

* * *

Не может быть! Тюремный домовой –
 Совсем уж нереальная фигура!
 Ну, козни. Ну, лукавая натура...
 Но где он спрячется?
 С большою головой,
 Косматый, седенький... В подушке? Под кровать?
 Найдут при обыске. За тумбочкой? Опять
 Найдут... Куда же? Заползет под платье?
 Но платье утром будут надевать...
 А вот завелся, бестия! Шуришит
 И возится. То форточку откроет
 И дунет так, что черновик слетит,
 То под окном тихонечко завоет,
 Как если дуть в порожний пузырек.
 То ночью грохнет мыльницей с полки,
 То утром я расчесываю челку,
 А в ней – косичка. Ласковый намек!
 И тоненький скребется коготок –
 За батареей, что ли? Кошки-мышки!
 Кого ловить? И кто на чьем хвосте?
 Зачем закладку вынимать из книжки
 И, трубочкой свернув, пихать в постель?
 Ну ладно. Лампочка сгорает раз в неделю –
 По вторникам. И бесится конвой,
 Натужно постигая: в чем же дело?
 Хорошенькое дело – домовой!
 Ну что ему пришьешь? И как допросишь?
 Какую к черту выберешь статью?
 Хотя статью найдут, и к ней – доносы...
 Ну, а кого посадишь на скамью?
 Допустим, бутерброды все без масла
 И потому не падают. И он
 Тут ни при чем. Но мне еще неясно:
 Когда на отдаленной башне звон
 И бьет четырнадцать – какое это время?
 И кто там бьет? И, может быть, кого?
 Ох, шестипалое лихое племя!
 Ужо я доберусь! Но тут совок
 Для мусора – тихонечко съезжает
 По стенке... трах! Как громко для совка!
 Обиделся! Мол, пусть не обижают
 Нахалки разные седого старика!
 А, впрочем, он не дуется подолгу!
 Лукавец от ушей и до хвоста –
 Хихикнул, хрюкнул – и полез на полку.
 И там затихло. Видимо, устал.
 А тут и спать пора. Закрывать от света
 Глаза – ладонью. Самый лучший сон
 Заказываю! Что я дам за это?
 – А что с тебя возьмешь? – смеется он.
 И вот я вижу: поле зверобоя,
 И кто-то там летит над ним, летит...
 И мне кричит: Беру тебя с собою!
 А за спиной вдруг как захрустит!
 Ах ты лохматый! Маленький дикарь!
 Кончай шалить – уж на сегодня хватит!
 Гляжу спросонок... Лежа на кровати
 Сокамерница кушает сухарь.

Октябрь 1982 г.

* * *

У изменницы и отступницы,
 У сучка в державном глазу,
 У особо опасной преступницы –
 Ну и смеху! – режется зуб.
 По-цыплячьи стучится, лезет,
 Ничего не желая знать.
 Что с того, что окно в железе?
 Все растет – на то и весна!
 Приговор мой ждет утвержденья,
 Заседает Верховный суд...
 Тут бы хныкать о снисхожденьи –
 Но мешает крамольный зуб!
 Прет наружу целое утро,
 И скворцом трещит голова...
 Непутевая моя мудрость!
 Ты нашла, где качать права!
 Что поделать? А завтра обыск!
 Обнаружат, подымут вой,
 И за то, что не смотрят в оба,
 Нагоняй получит конвой...
 По инструкции – не положен

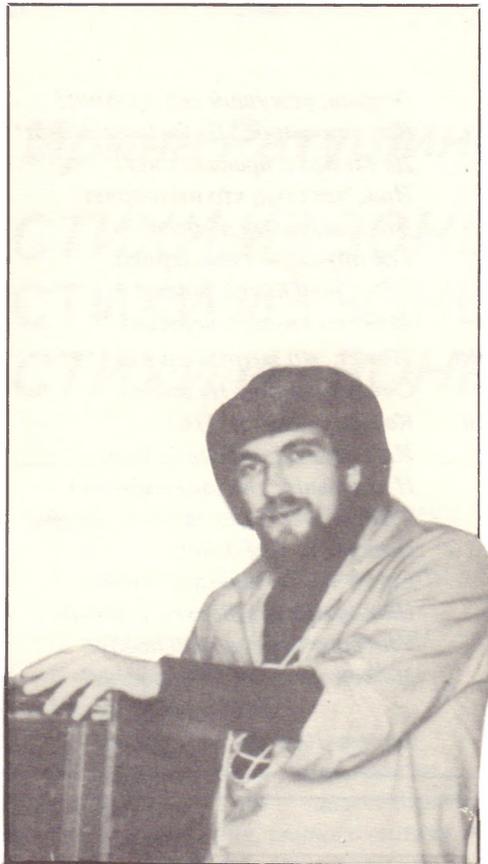
Острый, режущий сей предмет!
 Как так вырос? Да быть не может!
 Да такого в правилах нет!
 Ишь, нахалка, что вытворяет!
 Это слыханные ль дела?
 Где другие – зубы теряют,
 Эта – новенький завела!
 Может, сунули в передачу?
 Может, это хитрый протез
 С телекамерой? Не иначе,
 Как на денежки НТС!
 И пойдут по столам бумаги,
 И начальник тюрьмы вздохнет:
 – Поскорее бы сплавить в лагерь!
 Потерпите еще денек!
 Есть у нас на шальных поэтов
 Наш гуманный Верховный суд:
 Утвердит приговор, и поеду.
 Может, крылышки отрастут!

Апрель 1983 г.

* * *

По хлебам России бродил довоенный ветер,
 А смешной гимназист, влюбленный во все на свете,
 Изводивший свечи над картами МАГЕЛЛАНА,
 Подрастал тем временем. Все по плану
 Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом
 Бредил всеми землями, путая былль и небыль,
 – Апельсиновые рощи Сорренто, – шептал и слушал.
 Как чужие слова застилают печалью душу.
 – Варвары спустились в долину, – он твердил по-латыни.
 И рвалось, как из плена, сердце к этой долине.
 А когда уездный город Изюм занесло снегами,
 Он читал, как рабыни, давля виноград ногами,
 Танцевали над чаном под хохот медных браслетов,
 И от этого сохло горло, как прошлым летом.
 Со стены улыбался прадед в литых лосинах,
 Бесконечно юный, но потускневший сильно.
 Застекленный декабрь стоял, как часы в столовой,
 И смотрел, и ждал, не говоря ни слова.
 А потом весна-замарашка в мокрых чулках –
 Тормошила, смеясь, и впадинку у виска
 Целовала – и мальчик немел от ее насмешек.
 Все уроки – кубарем! Все законы – смешаны!
 Он бегал посмотреть ледоход, и ветер апреля
 Выдувал облака соломинкой. МАРК АВРЕЛИЙ
 Ждал с античным терпением, открыт не на той странице.
 Продавали моченые яблоки. Стыли птицы
 В синеглазой бездне, выше колоколов!
 И для этой печали уже не хватало слов.
 И рука отчизны касалась его волос...
 Он как раз дорос до присяги, когда началось,
 Он погиб, как мечтал, в бою, защищая знамя.
 Нам бы знать – за что нас так, Боже?
 А мы не знаем.

2 мая 1983, малая зона



Лет 15 назад в семинар Юрия Трифонова пришел двадцатилетний, сильный и красивый Николай Климонтович. Он был очень коротко, как тогда было модно, стильно пострижен, держался очень независимо и свободно. Мне он пришелся сразу же по душе, хотя неизвестно еще было, что он представляет из себя как писатель. В этот же вечер он прочитал два своих рассказа, и я понял, что Николай Климонтович талантливый серьезный прозаик. Семинар у Трифонова был неровным. Жесткий реализм прозы Климонтовича привел многих в замешательство, они все еще кормились из блюда соцреализма. Я был одним из немногих, кто горячо поддержал рассказы. Конечно, тогда я не предполагал, что мы станем друзьями, что вместе будем выпускать "Каталог" спустя двадцать лет, и что спустя эти двадцать лет я буду писать предисловие к отрывку из его романа, находясь за тридевять земель от Москвы, в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее это так, это не сказка, а реальность.

Несколько слов о судьбе этого романа и отрывка. По счастью, роман оказался у меня, прочитав его в Москве, я так и не отдал его автору, откладывая и желая перечитать его снова. На выезд из СССР у меня было несколько дней, так он и уехал вместе со мной через океаны. Разбираться было некогда. Позже, уже здесь, я узнал, что у Климонтовича был обыск, после ареста Козловского, забрали все, кроме романа, который в это время уже перелетел через океан.

Ф. Берман,
февраль, 1984
США

Николай Климонтович

В ГОСТЯХ

Глава из романа

ГЕТЕ ЗАМЕТИЛ КАК—ТО:

— СУМРАК И НОЧЬ, — ЗАМЕТИЛ ОН, — КОГДА ВСЕ ОБРАЗЫ СТЕРТЫ И СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО, ПРОБУЖДАЕТ чувство возвышенного.

Прислушайтесь и убедитесь, что это истинно так. Для пушей возвышенности, впрочем, могу еще присыпать глубокий черный бархат небес кой-где горсточками созвездий, припорошить пылью далеких туманностей и галактик. В зените же размещу ночное светило. Однако, до поры придется занавесить его облаком — большим, косматым, традиционно напоминающим косматую голову. В свое время лунный свет высветлит путь нам и нашим героям, пока же бледное и сонное сияние тихо и печально струится из подслеповатых глазниц.

Теперь не худо бы разобраться и со звуковой орнаментовкой. Позванивает и посвистывает, как вы помните, ветер,

неумолчно и упорством своим напоминая стрекот здешних голосистых цикад. Сами цикады, впрочем, молчат, сегодня вы их, к сожалению, не услышите. Быть может, в другой раз вам повезет больше, ведь цикады тутешние поют едва ли не ежевечерне, придавая здешним местам, кому-то, быть может, показавшимся неуютными и мало пригодными для жизни и романа, задушевное и лирическое очарование.

И верблюды, взыв напоследок несколько страниц назад, сбежал глубоко в черноту, о нем пока ничего не слышно. Шаги же наши по сухой земле беззвучны, шаги наших героев — очень тихи. Лишь изредка доносится посасывание и хлюпанье носа Чино, идущего в трех метрах впереди, но в общем все пока довольно тихо.

После неторопливого подъема на недалекий холм начался, как водится, пологий спуск. Едва герои наши переступили гребень, жилье их с единственным помаргивающим окошком осталось позади, облако, которое повесил я прямо над их головой, сползло чуть на сторону. Высветилась его разинутая беззубая пасть, пролился сквозь нее лунный сноп, черная земля впереди узкой косой полосой засеребрилась. Впереди стал

различим на темном черный силуэт следующего холма с черной же расстрепанной бахромой саксаулов на холке.

— Д-давно здесь? — спросил, наконец, Володя, чтобы так долго и так подозрительно не молчать.

— Не, — донеслось спереди.

Чино шел, не оборачиваясь. Ветер резко задувал сбоку, и это "не" было им немедленно подхвачено и проглочено, причем ветер невнятно екнул. Тогда Чино нехотя добавил громче:

— Я шофером... в городе... прав лишили... Вот мать и послала... к дядьке... на лето... в деревню...

Так, по лоскутку, информация эта и дошла до володичьего слуха, он ухмыльнулся про себя, невольно скосив на "деревню" взгляд, но промолчал.

Ветер делался все колючей и пыльной. Шли хоть и медленно, но парень, за Володей увязавшийся, что получилось как-то само собой, все одно то и дело отставал. Оказавшись позади, спохватившись, он припускал и забегал вперед, но через секунду, не в силах размерить шаг, снова позади плелся, и снова предпринимал неуклюжую попытку с Володей выровняться.

— Скучно здесь, — внезапно сообщил Чино, когда прошли еще метров пятнадцать. И пояснил:

— Пустыня здесь.

Володя хотел было ответить назидательно, мол, скука — еще не повод верблюдов колошматить и людям посторонним жизнь отравлять, но сперва застыл, потом, заикнувшись, как ему показалось, в последний раз, открыл рот, набрал воздуха, но в глотке тут же оказалось столько пыли, что наставлять кого-то стало невозможно. Володя закашлялся.

Чино, однако, словно понял — что тот хотел сказать. Он подтер рукой под носом, словно смутившись, приостановился, проорал в темноту что-то гортанное и совершенно нечленораздельное. Никто не откликнулся. Чино постоял, подождал, снова утерся и заметил сам себе:

— Да куда денется!

Он расправил рубаху на плечах, растянул ворот в стороны, почти сбросил его на предплечья, передернулся, дрыгнул всей спиной и дальше пошел, заметно фасоня перед спутниками, руки держа полусогнутыми, виляя бедрами и припадая то на одну, то на другую ногу.

— Б-близко уже? — спросил Володя.

Но Чино то ли не слышал, то ли не стал отвечать. Делался он все спокойней и удовлетворенней по мере продвижения. Зачем Володя с парнем за ним увязались, он, казалось, не интересовался. Ничего не спросил, когда потребовали у него проводить к дядюшке, сперва смотрел как-то неуверенно, потом, будто смекнул, что идут геологи не на него жаловаться, а по своему делу, приободрился, какая-то лукавая усмешечка то и дело бродила по его лицу. А теперь вот шел впереди походкой и вовсе независимой.

Когда перевалили и через второй холм, Володя снова не выдержал:

— Ты ж сказал, что н-недалеко, а?

Он остановился, огляделся по сторонам, чтоб на обратном пути не сбиться, остановился и Чино. Теперь позади слышалось негромкое вкрадчивое топанье. Через мгновение стало видно, что это верблюды на безопасном расстоянии тоже следовали домой, молча и мирно. Похоже было на примирение протрезвевших приятелей после пьяной драки.

— Идет, — заметил верблюда и парень.

— Куда денется, — повторил Чино, но беззлобно. И добавил: — Пришли уже, ты чего...

Тут же сделались явными и первые признаки жилья: потянуло дымком, пахнуло кожей и хлебом. А вскоре нарисовался в темноте и многоугольный, плоский на густом небе, со срезанной верхушкой силуэт.

Вокруг юрты валялись ящики, доски, жерди, несколько пустых ведер, о которых гости не преминули споткнуться. Ведро, словно того и ждали, живо и звонко откликнулось.

Послышался хриплый лай и звон цепочки, но собаки видно не было. Лишь блестящий стальной карабин пропрыгал по натянутому тросу.

— П-па-шла-а! — закричал Чино, и карабин нехотя, побренькивая, толчками уехал назад и скрылся.

Чертик из табакерки, выпрыгнул из темноты черно-белый козленок. Мотнулся на привязи, тоненько что-то промяукал: то ли поприветствовал, то ли пожаловался, в стороне сонными голосами проскрипели с досады несколько овец, старчески вздохнул верблюд позади, точно хотел сказать: фу, ты, батюшки, — и козленок тут же убрался с глаз и процокал, уже невидимый, мягкими копытцами.

Луна еще чуть придвинулась.

Клочковатый свет выловил из тьмы бородатую голову с прямыми острыми рожками. Голова выглянула из белого волосатого воротника, пристально посмотрела на чужих шарообразными стоячими глазами и сказала что-то по-козлиному.

Свет потух. Негромко проржала в темноте лошадь, полог откинулся на сторону, открылась черная, черней, чем ночь вокруг, дыра.

Сипловатый голос Чино произнес:

— Заходите, гостями будете.

Едва протиснулись Володя и парень в нору под кошмой, ударил в нос спертый и кислый запах, и прямо на них уставились три-четыре воспаленных, подернутых старческой пепельной слезой, глаза, висящих посреди и помаргивающих. Что-то шлепнуло, прошуршало, полог лег на место, отделив их от всего проветренного и ароматного мира. Со скрипом и урчаньем кто-то будто набрал в легкие так много воздуха, что дышать стало совсем тяжело, с посвистом и утробным скрипом выдул обратно, красные глаза мигом разгорелись, улеглись на землю, а пепельный рой с испугу взметнулся вверх. Улегся и он, угольки оказались способными к довольно бойкому горению; прокашлявшись и прочихавшись, можно стало различить внутри юрты и кой-какие подробности.

Прежде всего привлекало взгляд расположившееся над головой круглое и синее войлоковое отверстие. В юрте было тесно, душно, хотелось чесаться, и дырочка в потолке казалась единственной отдушиной. Так и подмывало обмануть себя, разглядеть в ней высокое свежее небо, звезды на нем.

— Держи ты! — сказал голос Чино. — Держи ты!

Автоматически протянув руки, гости получили каждый по пиале, не успев еще разобрать что к чему. Они обнаружили себя в довольно неудобной позе — сидящими на чем-то мягком, но низком. В глубине юрты шевелилась какая-то ватная грудка. Слышалось посапыванье, поперхиванье, потом в круг света просунулась голая и волосатая мужская рука. Чино и в нее вставил пиалу, присел возле очага на корточках и, ни слова не говоря, закинул голову, вылил нечто из своей пиалы в глотку.

В глотке булькнуло. Задыхаясь, Чино поставил пиалу на землю, выхватил из-под себя другую, побольше, и запил перешедшее к нему в желудок содержимое первой.

— За знакомство, так что ли? — произнес он, отдышавшись, и утерся голый по локоть грязной рукой.

Рука, принадлежавшая ватной грудке, убралась в темноту,

заместо нее медленно выползла из-под одеял бритая круглая темная голова. Черные глаза, в которых краснели и светились огоньки, делали ее одушевленной. Голова свесилась чуть не на землю, из темноты в ее открытый рот заструился поблескивающий ручеек. Не было слышно ни глотков, ни вздохов, ручеек иссяк, запахло, в довершение к запахам нестиранных одеял и мужского пота, сивухой. Глаза закрылись, голова стала совсем мертвой.

— Вы пейте, — посоветовал Чино, — а он сейчас... Он как примет, так быстро отходит.

Парень поднес пиалу к носу, понюхал, внутри у него дернулось, содрогнулось, он быстрым движением, едва не уронив, поставил пиалу на землю, но водка успела выплеснуться и даже в потемках образовать черную лужицу.

— Ой, так нельзя! — воскликнул Чино. — Так нельзя, вы гости, как же можно не выпить?

— Он н-не пьет у нас, — заступился за Вадима Володя. — Он совсем не пьет.

— Совсем? — переспросил Чино невинно. — Он сидел на земле, съезившись, на карачках, снова напоминал маленькую обезьянку, от которой не знаешь чего ждать. — Неправду говоришь, да?

— И п-потом, мы не в гости п-пришли.

— Как так?

— Мы п-по делу. У нас дело к нему.

И Володя кивнул на голову Телегена, свесившуюся еще ниже, отделившуюся от груди одеял и лежавшую теперь на земле сама по себе.

— Сначала выпить. Вы гости. Потом дело. Так у нас говорят. А это на, запей. Верблюжье молоко, очень полезно.

Он протянул Володе ту пиалу, которую сам использовал для запивания. Володя поколебался, поглядел в одну сторону, в другую, повертел головой, но Чино следил за ним зорко из-за свесившейся на черные блестящие глаза черной прямой челки. Володя выдохнул, выпил, помахал рукой, мол, не надо верблюжьего молока, и принялся отплеиваться.

— Не вкусно? — поинтересовался Чино. — Я говорю — запей.

— Шерсть, — пробормотал Володя. — В-водка с шерстью.

— От кошмы это. Летит.

Чино отвернулся и заговорил по-казахски. В ответ куча видеоизменилась. Обозначился конец туловища, выпрастаны были из-под одеял босые смуглые ноги, голова приподнялась и очень трезво посмотрела на сидящих рядком Володю и парня.

— Здравсьте, — выговорил Телеген отчетливо и сделал Чино какой-то знак.

Тот кивнул, полез вбок, послышалось звяканье перебираемой посуды, наконец, он вынырнул на свет с новой бутылкой водки, быстро откупорил и налил Телегену грамм пятьдесят, не больше.

Без прежних фокусов хозяин привстал, запрокинул голову и выпил, как все люди, самым каноническим способом. По звукам да и по блеску глаз можно было судить, что на этот раз порция принесла ему искомое удовлетворение. Лицо его, как и давешним вечером, сохраняло сосредоточенное выражение, но оживился он заметно. Подгрел себе под голову нечто, уложил голову так, что теперь и ему было видно всех, и всем его. Босые ноги раскинул и вытянул поверх одеяла, поелозил задом, окончательно устраиваясь, потом громко что-то варварское рявкнул в темноту.

Мигом все в юрте преобразилось. До сих пор было тихо, тесно, душно, но теперь вдруг юрта словно раздвинулась, по углам ее пошло какое-то шевеленье, казалось, сами стены

пришли в движение, чьи-то руки, ноги что-то разгребали, и на свет показалось несколько детских лиц.

Телеген ткнул в одно из них.

Из-под каких-то неразборчивых впотьмах пожитков явился мальчик лет восьми, как отец бритый, с такой же формы головой, с такими же глазами, крупными, блестящими и серьезными, с таким же неподвижным лицом. Сходство было прямо-таки матрешечное. Ни слова, ни звука не издав, мальчик поднялся, подошел и взобрался босыми пятками на отцовские ноги. Ни на секунду не теряя равновесия равномерно он стал перебирать ногами, как если бы давил виноград, а Телеген откинулся на спину удовлетворенно и воззрился на гостей черными своими глазами.

Володя хмыкнул в смущении, парень как открыл рот, так и не закрывал, наблюдая этот родственный массаж. Чино перепутал, переплел руки, ноги, как-то подобрался, свернулся и уставился на огонь круглым задеревеневшим лицом, челкой до глаз, общей неподвижностью напоминая странного и недоброго, должно быть, юного божка.

Все погрузилось в молчание.

Прошло еще минуты две.

Положение, представьте себе, было нелепым. Ночь, два казаха, молчащие, но знающие про твои грешки — признания ждущие. Безответный этот мальчуган, топчущий невесть зачем отцовские ступни. Бледный красный огонь, смутные детские лица в потемках. Кругом, вне стен юрты, одна только пустыня, пустое небо, простор. А здесь в духоте и вони — необходимость сейчас же признаться в воровстве. Да еще и попытаться умиловить, деньги предложить, — взятку дать, если проше сказать.

Несколько раз открывал Володя рот, вспотел, чихнул, но так ничего из себя и не выдал.

Парень опирался о его плечо. Смотрел-смотрел на огонь, раскрыв рот, да и задремал. Теперь он мирно покачивался в такт своему дыханию — то налегал на Володю, то клонился в противоположную сторону, и приходилось его придерживать. И ничуть не успокаивали эти волны беззаботности и дремы. Напротив, все более одиноким себя чувствовал Володя, одиноким и беззащитным перед необходимостью позорного покаяния. Все больше раздражался он внутренне от того, что чужую, в сущности, оплошность должен, унижаясь, расхлебывать, как дурак... К счастью, Телеген первым нарушил молчание.

Он сказал негромко несколько слов. Чино помедлил с переводом, а Телеген смотрел на Володю чистыми глазами, терпеливо, почти ласково, будто дожидался, что и по-казахски сказанное до Володи так или иначе дойдет. И улыбнулся.

Володя дипломатично ухмыльнулся в ответ, но перевод, который Чино нехотя процедил сквозь зубы, облегчения не принес.

— Он спрашивает, у вас там праздник сегодня, да?

Володя понял, что разговор этот ведет все в ту же сторону, его и еще раз в пот бросило. Он даже передернулся непроизвольно, и рядом вздрогнул парень, но — не пробудился. Что-то зашипело в очаге, пламя моргнуло и померкло, заметная глазу тонкая струйка дыма, томительно изогнувшись, медленно полилась вверх, но уже под потолком неожиданно резко скрутилась и шмыгнула в дымоход.

— Да, — выдавил Володя, — д-день рождения.

Тут бы ему и перейти к делу, но он, помявшись, решился уточнить:

— У начальницы... у Людмилы... в-вы ее знаете.

Последнее было глупо говорить. Телеген прищурился.

— Люд-ми-ла — да! — старательно выговорил он. И снова замолчал, глядя на Володю поощрительно и поблескивая глазами. Тот и теперь ни на что не решился, а только пуше осердился, что с ним играют, по-видимому, в кошки-мышки.

И снова воцарилась тишина, хоть святых выноси.

Что-то явственно поскреблось, потом пошуршало, потом поскреблось опять — в стороне входного лаза.

— Тарпаха! — с отчетливым перекатом на "р" выкрикнул Телеген.

— Ч-что? — вздрогнул Володя, и парень, очнувшись, открыл глаза, похлопал ресницами, медленно вспоминая — что к чему.

— Тарпаха, — твердо, как приговор, повторил Телеген, и это непосильное "р" в непонятном и грозном слове показало Володе особенно зловещим.

— По-русски, черепаха, — подсказал Чино.

Он не смотрел больше на огонь, а из-под свесившейся челки уставился прямо Володе в лицо.

— Ч-что ч-черепаха? — размазал Володя, стараясь под пристальным этим взглядом держаться-таки молодцом.

— Черепаха в дом ползет, — пояснил Чино без выражения. — Сейчас пойдет про войну рассказывать.

Телеген и вправду что-то быстро проговорил. Чино сплюнул на землю рядом с очагом, равнодушно налил в дядюшкину пиалу водки, себя тоже не забыл и перевел:

— Его во время войны посылали черепах собирать... Его и мою маманю... Панцири терли, муку получали...

— Т-то есть? — переспросил Володя, окончательно окаменев лицом и глядя на Чино не моргая.

— Панцири терли, муку получали, — повторил тот безучастно, а Телеген согласно и печально покачал головой и снова выпил.

И невозможно было что-либо понять, прочесть. Ни на лице Чино, не похожего теперь на того человечка, который только что катался в пьяной истерике по земле, ни по лицу Телегена, которое не дрогнуло, не дернулось, не скривилось, а сохранило полное достоинство и непроницаемость, пока водка в очередной раз пролилась к нему в брюхо. Все казалось у них наизнанку, с ума можно было сойти, на них глядячи.

Володя вздрогнул, когда Чино поднялся на ноги. Но тот шагнул не к нему, а к выходу, нагнулся, подобрал черепаху и выбросил за порог. На секунду, пока он приподнимал полог, стало слышно, как там гуляет ветер на воле, но снова все стихло, замерло, сперлось.

— М-мы пришли, — начал Володя и прокашлялся. — П-пришли сказать.

Телеген приподнялся на локте и внимательно смотрел ему в рот.

— П-пришли сказать.

Телеген, все глядя Володе в рот, произнес несколько слов.

— Он вам ее дарит, — перевел Чино.

— К-кого? — осекся Володя.

— Он вам дарит овцу на день рождения. Овцу, которая к вам приходила.

— Она не п-приходила к нам, — пролепетал Володя, чувствуя суеверный ужас.

— Не-ет, — покачал головой и парень, подслеповато вглядываясь в лицо Телегена, которого, кажется, только что признал.

— Все равно — дарит, — отрезал Чино, а Телеген сделал какой-то знак рукой, мальчик сошел с его ног и нырнул с глаз.

— Он дарит ее этой вашей, — уточнил Чино, и Телеген усиленно закивал головой, потом медленно и растягивая губы прошептал:

— Люд-ми-ла.

— А то м-мы можем заплатить, — ободрившись, предложил Володя.

— Должны, — встрял и парень, видно совсем очухавшись.

— А то мы не нарочно... То есть, это не мы, а нас...

Володя пхнул его локтем в бок, парень икнул, скривился, свял.

— Подарок да, деньга — нет! — сказал Телеген. И сел с внезапной поспешностью на своем ватном ложе. — Мой баран — она баран, — добавил он еще непонятнее, но страстно.

Глаза его странным образом выкатились, округлились, ладонь дважды разорубила воздух, мотыльки пепла прыгнули вбок.

Он вытянул руку, как оратор. Чино вставил в его горсть смоченную водкой пиалу, и, не отрывая вспыхнувших глаз от лица гостей, Телеген высосал дозу, содрогаясь и будто еще объясняя телом что-то; быть может, тост произносил в честь именинницы или в любви признаваясь. Пиала вывалилась из рук наземь, сделала два неуклюжих оборота и с глухим звоном замерла.

— М-может н-не надо, — попытался и еще раз возразить Володя, инстинктивно отодвигаясь и так опасливо, будто им предлагали в подарок не украденную ими же овцу, но змею на память.

— Дарит — бери, — быстрым шепотом сказал Чино, оглядываясь на дядюшку вместе и опасливо, и воровски. — Он на вас жаловаться хотел, а сегодня, видишь, дарит! Да ему что, у него знаешь сколько овец в месяц пропадает? — Говоря это, он тыкал в руки гостей пиалы с водкой. — Сейчас, к примеру...

— О-о-о-у, — сказал Телеген, по-прежнему стоя на карчках и буравя чрезмерно нежным и сырым взглядом володино лицо. Помолчал в задумчивости и снова свыл, чуть повода растроганно головой:

— Оо-у.

— Ч-что это он?

— Может, поет, может, еще что, — мрачно бросил Чино, недовольный, что его перебивают. — Выпьем?

Механически Володя чокнулся с ним, а парень вдруг захлопал в ладоши.

— О-о-у-у, — взвыл Телеген еще громче, видно, польщенный.

— Вот сейчас, к примеру, — продолжал Чино жадно, выпив и отдышавшись, — он уже неделю пьет. Он пьет, а тетка пасет. Так сколько она потеряет, а?

— О-о-у-а, — разнообразил свою песню Телеген, опустился на зад и подтянул колени к груди.

— Во сколько потеряет! — выкрикнул Чино зло. — Совхоз все спишет, да. Каких соберем — хорошо, а каких нет — спишут! Совхоз-то бога-атый.

Тут он почти с ненавистью взглянул на дядюшку, который надув грудь, шевелил ногами в воздухе и мотал бритой головой туда-сюда, вытягивая шею.

— Деревня, — прорычал Чино.

Меж тем Телеген пел все громче, повизгивая, а глазами все яростней и ядовитей впиваясь в Володю.

— Н-ну-ну, — сказал тот и вытянул перед собой растопыренную ладонь. — Спасибо за все, но мы пойдем, пожалуй. Нам уже п-пора...

— Зачем пора? — вдруг вскрикнул Чино и закричал тонким голосом: — Совсем не пора, рано еще!

— Пора, — помаргивая, подтвердил и парень, которого Володя, поднявшись на ноги, тянул за собой за рукав.

— Нет, не надо!

Чино тоже вскочил проворно, метнулся наперерез, преградил им путь к выходу. На лице его возникла давешняя гримаска — обиженная, плаксивая, обезьянья. — Не надо так! Нельзя! — провизжал он. — Не уходите!

Грязные его пальцы потянулись опять к вороту, казалось, еще секунда — он снова ударится в истерику, бросится на землю, примется вновь кататься и плакать.

— Это ты все! — набросился он на дядюшку неожиданно. — Гости пришли, а ты напился! Петь вздумал!

До сих пор Чино держался в меру, но почтительно, но теперь орал грубо, некрасиво выворачивая губы и брызгая слюной. Детские лица попрятались в темень дальнего угла. И тут стало ясно, отчего Чино не соблюдает больше возрастной субординации. С испугом гости увидели, что дядюшка весь опал и сдулся. Зрачки его выкатились на самый лоб, брови разъехались в стороны, рот хватал воздух, руками он ошупывал судорожно свою грудь. Потом издал последний звук горлом и повалился с размаху на спину.

Пришибленные, не сводя глаз с Телегена, гости автоматически поопускались снова на кошму.

И Чино тут же утих.

Невозмутимо поковырял в углях, ухмыльнулся удовлетворенно, на дядюшку скосив черный глаз, пошатываясь, со стуком и опрокинув какую-то посуду, достал из темноты треногу, установил под огнем. Потом извлек оттуда черный же чайник, долго прилаживал дужку на крючок, подвесил наконец, потянулся разлить водку, споткнулся и пьяно подмигнул:

— Ничего, мне хорошо. Мы успеем поговорить. Он, — показал большим пальцем через плечо, — вырубился, минут через десять оклемается, не раньше.

Телеген не шевелился. Разворошенные угли ожили, то там, то сям пробежали по ним бледные, но бодренькие язычки. Жидкие отсветы скользили по ватной груди, по кошме, по засыпанной сором земле, по бритой неподвижной голове и по темному лицу с незрячими закатившимися глазами. И все вместе — тряпье, кошма, тело человека, — представлялось в этом случайном свете слитным, одинаково неживым, а Телеген казался на этот раз умершим окончательно.

— М-может плохо ему? — спросил Володя. — П-помочь надо?

Чино промолчал, свесив голову, но явственно проскрипел зубами. Стало как-то особенно глухо и заперто, слышен был только ветер. Он траурно и тоскливо напевал что-то, обтекая стены юрты снаружи, шурша и маясь. И если долго вслушиваться в него, могло показаться, что юрта не неподвижна, а летит по воздуху, земля же уходит из-под ног.

— Ча! Ча! Ча! Ча! — вдруг запел, заиграл плечами и челкой Чино, разогнулся и прошелся перед гостями в дикарском танце, притоптывая ногами, через такт прихлопывая ладошками. — Мне надо помочь, понятно вам? — проныл он тут же со слезой в голосе, неожиданно близко нагнувшись к Володе и парню, дыхнув, по-звериному вонючей пастью.

— Ну ладно, л-ладно, х-хорош, — осадил Володя, повышая голос.

— Ч-что, брезгуешь, а? — Чино опустил на скрещенные ноги прямо на землю и заглянул к ним в лица снизу. — Да, я не такой, не такой!

— Какой — не т-такой?

— Ну, не такой, как он. Я в городе родился, а он по-русски говорить не может. Я на Белом море служил! В пятидесяти километрах! У меня жена — осетинка, — простучал он в такт последней фразе кулаком себе в грудь. — Да я здесь — знаешь зачем?

— Зачем? — наивно спросил парень.

— А затем, — обращаясь теперь только к нему, наставительно и высокомерно заявил Чино, — что прячусь, ясно?

— Прячешься?

— От мусоров. После танцев девчонок на узике катал, — зачастил он, — ну и вляпались. Права на месте отобрали, хорошо — без жертв. Одной только ножку чуть поранили, теперь у нее эта ножка — чуть-чуть гармошка. Зайти велели, а я сюда, понял? Я второй месяц здесь. Да что — я сам хотел, давно хотел, и вот — случай такой. Думал — верхом буду ездить. Думал — пасти буду! — потряс он в воздухе кулаком и снова обрушил себе на грудь. — А здесь — все то же, только еще хуже. Ясно теперь? Ча! Ча! — вскочил он снова на ноги и с пьяной маниакальностью стал выделывать ногами кренделя, хотя на его глазах уже блстели всамделишные слезы.

— А я на все пойду, — тут же бросился он на колени перед ними снова, — на любое дело! Сил-то у меня, знаете? А где? А где? — тыкал он в пустое и темное пространство рукой. — Где их потратить, а? Пить только? — завизжал он. — В грязи валяться?

— А вот вы, — полз он к ним уже на животе, — геологи, да? Вроде при деле. А пьете тоже, — погрозил он грязным пальцем с какой-то невероятной длины ногтем, — пьете, пьете, я вижу. А у меня всего было — во! И девок, и денег! Я в месяц пять сотен — от нечего делать имел! Но только это будто нарочно так придумано, чтоб настоящего не дать. Девки — дрянь, на деньги — купить нечего, на танцах рожи одни и те же!

Тут он закрыл голову руками, но не зарыдал, как можно было бы предположить, а затих, сам, видно, сраженный окончательно последним своим, танцевальным, наблюдением.

— Т-ты бы л-лучше.., — начал было Володя, но тут Вадим приблизил к нему лицо и промычал: — тс-с-у! Он указал пальчиком туда, где лежал померший хозяин. Там уже готовилось воскресенье.

Судя по всему, ритуал должен был быть повторен, как по нотам. Оживала уже телегенова рука, пробудилась и задвигала глазами телегенова голова, простонало что-то телегеново брюхо. Меж черных телегеновых губ показался светлый, обметанный телегенов язык, скоренько их обливавший.

Рука ползла по земле. Вздрагивала то и дело, словно боясь, что на нее наступят, по временам отклоняясь от верного направления, но неизменно возвращаясь на истинный путь, неумолимо приближаясь к початой поллитровке. Кисть пульсировала все сильнее: пальцы то сжимались в кулак, то раскрывались и топорщились призывно.

Наконец, большой палец ткнулся в стекло, бутылка накренилась и растаяла в воздухе. Изумленные зрители обнаружили ее, впрочем, через мгновение висящей вниз горлом над самой телегеновой глоткой. Водка змейкой мелькнула в темноте. Телеген стал приподниматься на локте. Взгляд его делался ярче, мутная поволока исчезала со зрачков, оторвав горлышко от губ, он взглянул на гостей просветленно и довольно осмысленно.

— Людмила! — отчетливо произнесли его расцветшие губы, и рот сложился в длинную улыбку.

Затем из темноты он вызвал кого-то, на этот раз попала девочка. На ней был надет сарафан раза в два длиннее

ее самой. Непостижимым образом не путаясь в подоле ногами, а успевая ставить ступни так, что подол подстилался перед ней на полу точно со скоростью ее мелких шажков — так белка в колесе не ошибается, сроднившись с колесом, как часть организма с частью, — она подошла к отцу, заняла вакантную позицию на его босых ступнях и занялась массажем, не уступая в рвении своему брату.

Чино не поднимал головы. Впрочем, поза его выражала даже некоторое удовлетворение — ровно поднималась в спокойных вдохах спина, плечи не вздрагивали больше, а левая рука согнулась и почесала что-то под лопаткой. Видно, удачно исполнив очередную партию, он мог позволить себе передохнуть.

Телеген, воззрившись на гостей, что-то медленно и тягуче сказал, почти пропел.

Гости сидели, не понимая. А Володя и не хотел понимать. До чертиков надоело ему уже это представление, он лишь ждал случая без задержек встать и уйти.

Телеген повторил. И в самом голосе его, и во взгляде было что-то приторное, неестественное, а в подергивающемся рте, в расслабленных губах, на которых посверкивала слюна, стекая с одной стороны по щетине — нечто от сумасшедшего.

— Что он г-говорит? — резко спросил Володя, спросил и раздраженно, и озабоченно, хоть ни малейшей угрозы в тоне Телегена не было.

Чино вдруг поднял голову:

— А хочешь, переведу? А? Хочешь?

Он вдруг засмеялся злорадно.

— Правда, хочешь? Так вот, он говорит, что очень вас любит: и вас, и бабу вашу. Что рад очень. Что за то, за то, что так вас полюбил, он вам тайну откроет.

— Тайну! — повторил Чино и захохотал. — А вы слушайте.

Телеген теперь говорил, не умолкая, покачивая головой, как в трансе, и в такт девочка с мертвым личиком перебирала ножками внутри своего непомерно длинного платья, топала по его ступням.

— Он говорит, что уже рассказывал вам об источнике. Это близко, говорит он...

— Ну, конечно, — обрадовался тут парень и вскочил бы от восторга на ноги, если б Володя не поймал его за локоть. — Ну, конечно, я ж там сегодня был.

Телеген оборвал речь и уставился на парня безумными глазами.

— Да, да, чего вы так смотрите? Это рядом, там озеро. Я.., — от волнения парень никак не мог сглотнуть слюну, запнулся, — я пошел прогуляться... и увидел. Широкое такое, блестит, в километре от нас, не больше.

Чино еще пуще, еще более зловеще захохотал:

— В километре, держи карман. Да там лужа, ее все знают. Это вот где, под нами, днем от юрты видно. Да только он не про то, а? — обернулся он к дядюшке.

Тот помотал головой.

— Нет, он про другое говорит. Вот слушайте, слушайте...

На губах Телегена уже белела пена. Дрожащей рукой он потянулся к бутылке, выцедил последние капли и продолжал.

— Там деревья растут и все такое, — переводил Чино. — Там есть источник, вокруг него деревья и цветы. Туда прилетают птицы, понятно? Это он так говорит, — шепотом добавил племянничек, — да только он мне тоже все это рассказывал, я верил сначала, пока не понял, что он — того. — Чино постучал себя пальцем по виску, а Телеген тем временем чистил свое.

Говорил он с неподдельной страстью, захлебывался, слюна пузырилась на черных губах. В безумных глазах были страх и мольба, словно Телеген не о восхитительном оазисе повествовал, а доказывал невиновность. Глядя на него, гости испытывали смешанное чувство: прежде всего, хотелось ему помочь, вскочить на ноги, закричать — да верим мы тебе, верим, не надо так... Парень, казалось, и впрямь заразился энтузиазмом, так и подпрыгивал на своем месте, да и Володя, лишь прислушиваясь к издевательскому переводу Чино, одергивал себя: да ведь бред же это, бред!

— Он там цветок сорвал! — провозгласил Чино. — Сорвал там цветок и просит передать его вашей начальнице. Во, щедрость-то — все раздарил! А цветов в пустыне больше нет, только у него, и он хочет этот цветок подарить ей...

— Ц-цветок? — переспросил Володя и наморщил лоб, не в силах уже что-либо сообразить.

— У него есть откуда цветок! — выкрикнул парень. — Ну вот, я же говорил! — добавил он, хотя, как мы знаем, ничего о цветах не говорил и говорить не мог.

Девочка была согнана с ног. Телеген встал на корточки и пополз куда-то в угол, урча по-собачьи.

— А что ж он сам там не живет, у источника? — вдруг выкрикнул Володя зло и совсем не заикаясь. — Чего он нам голову д-дурит? Пусть сам...

— Баран, — коротко ответил Телеген из угла.

— Ч-что, баран?

— Баранов некому пасти будет, — пояснил Чино, но по-прежнему изгилаясь. — Его дело здесь с ними быть.

— Чушь, чушь, — решительно возразил Володя. — Вот с баранами вместе туда и перекочевал бы...

Чино вдруг оборвался и недоуменно на него посмотрел. — Но туда нельзя с баранами, — пробормотал и он.

— К-куда? — От возмущения Володя даже приподнялся. — Ты ж говоришь, что нет никакого источника, сам же г-говоришь.

— Да нет, конечно так, — согласился Чино, но по-прежнему растерянно.

— У-уй! — выкрикнул Телеген из темноты. Видно было, как ползет он к ним обратно, что-то сжимая в руке, рыча и подвывая.

Он подполз к краю одеяла, протянул руки к очагу и в темной лоштинке его ладоней что-то вспыхнуло красным огнем.

— Вот, — тихо сказал Чино.

— Ч-что — в-вот? — пролепетал и Володя, вглядываясь, а парень, дрожа от страсти, тянул что было сил свою нелепую подслеповатую голову к самому огню.

— Ы-ый, — взвыл Телеген снова — уж вовсе по-звериному.

Цветок в его руках, в живых ярких отсветах, расцветен был отчетливо. Чашечка по низу закрашена черным, резная же ее кромка — коричневым. Венчик, у основания нежно розовый, по талии опоясан был белым пояском, а широко раскрытые разлапистые лепестки рделись к краям, обведенным яркой кумачовой каймой. Снутри цветка выглядывали длинные, с бутфорскими шариками на стыдливо изогнутых концах, реснички тычинок, и весь он был красив игрушечной, нереальной красотой.

— Понюхать можно? — истонным голосом проныл парень, протягивая и нос, и губы к вожделенному цветку.

Чино отвернулся.

— М-мы передадим, к-конечно, — смущенный таким великолепием, стыдясь своего недавнего недоверия, проворковал и Володя. — С-спасибо вам, Люда будет очень... Люде будет...

Парень уж всюду вдыхал ноздрями нездешний аромат, лицо его багровело от близости к огню, бородачке грозило быть вот-вот спаленной. Он бессмысленно таращил глаза, Телеген смотрел на него безумно и протягивал пригоршню.

– Ай! – воскликнул он уязвленно.

Чайник, уже давно побулькивавший на очаге, плюнул из носика кипятком, Телеген отдернул ошпаренные руки, цветок выпал у него из ладоней и улегся на угли.

Мигот лепестки завяли и скрутились. В центре нижнего образовалась желтая проплешина, просунулся в нее сперва один любопытный язычок, потом другие потянули края в стороны, цветок клюнул головкой вниз, через секунду на его месте лежал лишь черный бутон пепла да тускло поблескивала закрученная спиралькой закоптившаяся медленно расплавляющаяся проволока, которой чашечка прикручена была, видно, к деревянному, дотлевающему сейчас стебельку.

В ответ на вой Телегена во дворе отозвалась собака. Позвенела карабином, поурчала, а потом тоже завывала – тягуче, властью. Впрочем, Телеген, казалось, на казнь цветка и внимания не обратил. Тряс ошпаренной рукой, бормотал про себя точно заговор какой-то, дул на обожженное место, сразу же забыв и о племяннике своем, и о гостях, и об удивительном источнике посреди пустыни, вокруг которого росли деревья и цветы, к которому прилетали птицы и о котором, судя по всему, знал доподлинно только он один...

– Его старшая дочка такие в школе делает. По труду, – пояснил Чино, когда вышли из юрты.

Собака выла где-то за углом, да и мудрено было не завывать.

Ветер неистовствовал. В ушах свистело. Стены юрты колыхались и дрожали, поскрипывали распорки, точно со страху, а посреди неба висела неправдоподобно чистая, полная, серебристая луна.

– Буря начинается, надо верблюда спиной к ветру положить, – сказал Чино. – Дорогу найдете?

Вдруг все погасло.

Луна окуталась темно-синим облаком. Казалось, облако мчитя вскачь – края лунного диска замелькали то здесь, то там в прорехах.

– Найдем, – сказал Володя.

Они поднялись на первый холм.

Изрезанная овражками и впадинками, неровная земля, казавшаяся при дневном свете ровно-серой, сейчас раскрасилась в яркие, серебряный и черный, цвета.

Граница меж тем и другим была хрупкой. Казалось, чья-то нервная рука прочертила эти изощренно-ломаные линии, изваяла хрустально-филигранные края.

Никогда им не доводилось видеть здешние места такими.

Стоя на гребне, на возвышении, они видели теперь не круглую выемку, огороженную и замкнутую грядой круглых бугорков, а сказочно переливающуюся бесконечную причудливую выпуклую поверхность, отдаленно схожую с луной, в которой искрились отражения звезд.

Невольно искали они в ней что-то глазами.

– Ты видишь. В-вон там, левее?

Все отчетливей была посреди серебрищегося моря красная точка.

– Вижу, вижу!

Она то вспыхивала ярче, то грозила погаснуть, то разгоралась. Это возле кошары, под ними, кой-как приладившись и загородившись от ветра, Миша и шофер разложили чахлый жертвенный костерок.

Сергей Стратановский



СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

*Солдат всегда вооруженный,
Презревший боль, убивший стон.
Но чьей-то смертью пораженный
Вдруг как дитя заплачет он.*

*Так у библейского борца
Его мышца боевая
Трепещет мышью, чуть живая
Пред мощью Божьего лица.*

Осень 1972

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ПСАЛМА

*Морей и трав колебля лона
Подъемлет ветер смрадный прах
Вы прах, отступники закона
Тела горящие в пирах*

*Лишь тот блажен, кто к нечестивым
Нейдет в греховные дома
Их языки черны и льстивы
А пир заразен как чума.*

*Они за страшными столами
Не упадут пред Богом ниц
Глядят их мускулы волками
В груди у них сердца лисиц.*

*Вы – сор у Господа в ладони
Земли пустое вещество
А дни блаженного в Законе
О Боге помысли его.*

*Не видя судящих жестоко
Не слыша недругов своих
Он весь как древо у потока
Толпы шумящей, вод мирских.*

1972

ОСКВЕРНИТЕЛИ СТАТУЙ

Дело богинь зарубежных
 выставляя непристойные прелести
 Мраморным мясом кичась
 и в ночной, непредвиденный час
 К нам приходите в общежитие
 забираться в постели,
 под простыни
 Пальцами мрамора наглого
 щекотать неокрепшие члены
 Потных, мальчишеских тел
 Мы отомстим этим бабам
 богиням раздетым бесстыже
 Правившим в Риме, в Париже
 Сотворившим науки для греков
 Будет великий реванш:
 сбросим на чистую землю
 Кирпичами побьем истукани

1979

НЕБЕСНАЯ КНИГА

Зацвела! Ветвась, главнеет
 Здравствуй, книга-комиссар
 Трепеща пред ней, бледнеет
 Моисеев ветхий дар.

Ты у стен Ерусалима
 К нам упала с небеси
 И как бороды хранима
 Мужиками на Руси

Здравствуй книга мировая
 Голубков глубинных дар
 И с наганом комиссар
 По складам читая:

"Трепещите человеки,
 Скоро будет красный суд
 И с Фавора потекут
 Огненные реки

Правда вызвала на бой
 Кривду белоглазу
 Чтоб ее – лихой рукой
 Укокошить сразу

Просыпается народ
 Пробудилась злоба
 Лазарь праведный встает
 С топором из гроба".

Истребляя ветхий век
 Самый дух евонный
 Что ты ищешь, человек,
 Муж коннобуденный?

Божья книга, как нам жить
 В мире правд неправых?
 Неужель пшеном кормить
 Голубей кровавых?

1974

* * *

Лампочка света разбитого
 польта в прихожей и шапки
 Здесь ли гражданка Корытова,
 чьи моральные принципы шатки?
 Здесь ли Фома Маловеров?
 Нет он уехал в Канаду
 Грязных твоих фаланстеров
 ему и задаром не надо
 В кухне огромные окна
 полные моря заката
 Ну а в уборной пятна
 как европейская карта
 Видишь вот Скандинавия
 Дания рядом как будто
 Родина добронравия
 и сексуального бунта
 О сапоги разошедшиеся,
 с комьями глины небесной
 Клянчущие метафизики
 Фрайбургской, бесполезной
 О языки смесившиеся
 как при строительстве башни
 Кухонный с интеллигентским
 в супе всеобщем, вчерашнем

1979

* * *

Смерть не таинственный порог
 Она привычна как творог
 Она печется как пирог
 На каждый день и час

И по ночам когда не спишь
 Она скребется словно мышь
 И льдинкой бьется в нас

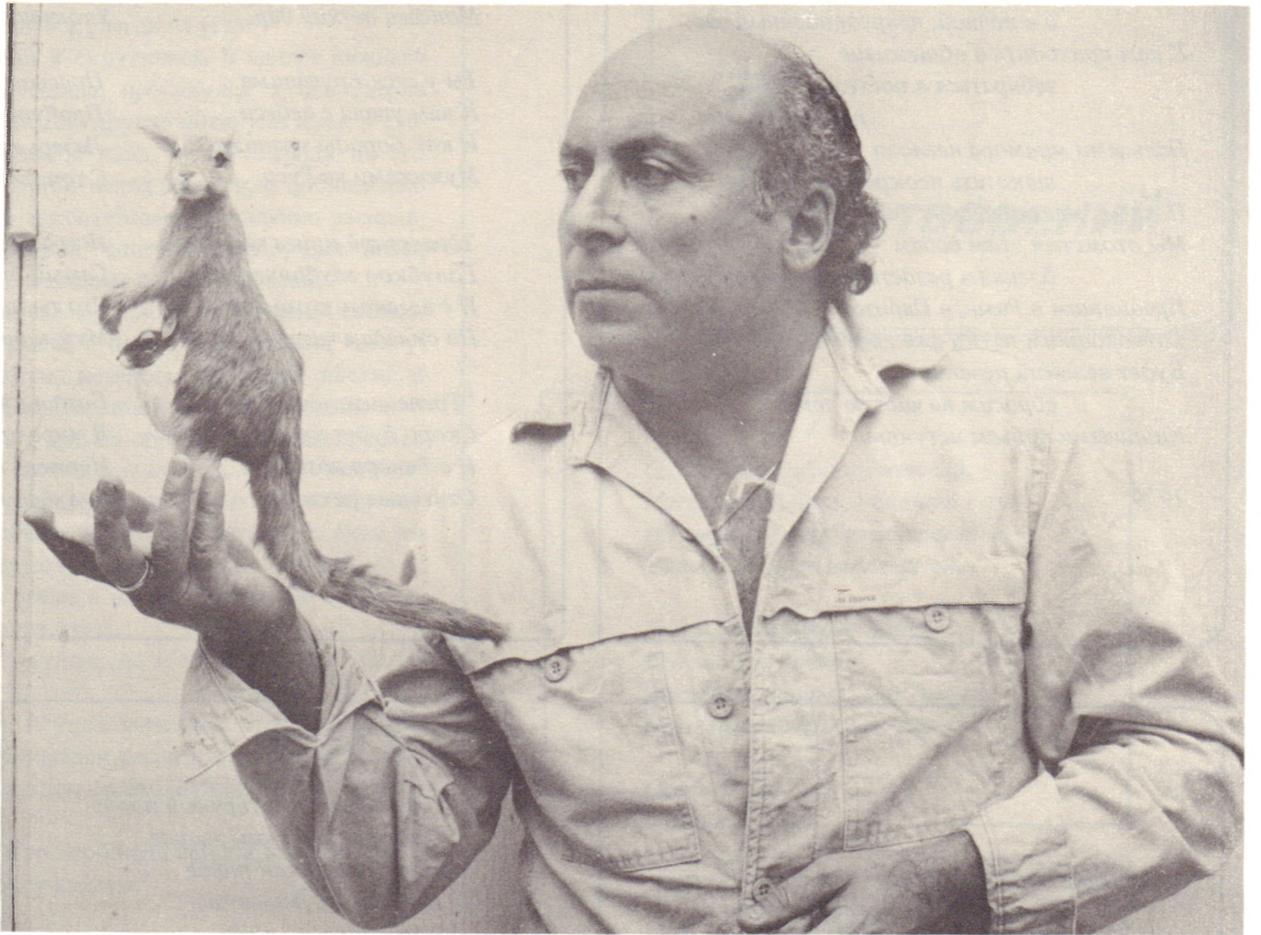
1978

* * *

Пустая осень. Страшно жить
 Деревья смотрят опустело
 И лист осиновый кружит
 И кровь на нем, и весь дрожит
 Как будто он – Иуды тело
 И губы бледные его
 О смерти молят Божество

1971

Юз Алешковский



ИЛИ
ПРИЗНАНИЯ
НЕСЧАСТНОГО
СЕКСОТА

-

От рассказчика

КОГО ТОЛЬКО НЕ ВСТРЕТИЛ Я, СТОЯ В ГНУСНЫХ ОЧЕРЕДЯХ У ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ПО СДАЧЕ ПУСТОЙ ПОСУДЫ, В БЫТНОСТЬ СВОЮ СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНИНОМ!

С КЕМ ТОЛЬКО НЕ ЗАВОДИЛ ДОВЕРЕННЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДУШЕРАЗДИРАЮЩИХ РАЗГОВОРОВ!

КТО ТОЛЬКО И МНЕ ЛИЧНО НЕ ЦЕЛОВАЛ ДУШУ в яростной и бесстрашной попытке добраться до самых корней неслыханных в наше время уродств личного, а порой и общественного бытия!

Поистине – нет иного места на всей Земле, где существа, униженные популярным пороком алкоголической выпивки, не стремились бы столь страстно и одновременно смиренно к моменту нравственного и физического возрождения.

Нету такого места на Земле, как это не горько звучит для чистого и трепетного слуха некоторых оптимистов...

И место это, ко всему прочему, наименовано самими чертями белой горячки с тончайшим садизмом и похабным издевательством – ПУПОПРИПУПО, что означает, к сведению величавых и пребывающих в гордыне всезнайства советологов. ПУНКТ ПО ПРИЕМУ ПУСТОЙ ПОСУДЫ...

Жизнь наша, господа, что и говорить, многолика. Втиснуть ее в нагло-задиристую формулочку, как это попытался сделать первый марксистский ученый Энгельс, никак не удастся, и, надо полагать, никогда не удастся, на то она, собственно, и жизнь, но нигде — ни в захолустной больничке, ни в смрадной камере тюрьмы, ни в толпе жалких просителей в бесчеловечных присутствиях Власти, ни на замызганном полу зимнего полустаночка, ни в различных атмосферах тоски и безнадежности — Образ Жизни не открывался душе моей с такою необыкновенною, с такою поистине пронзительной чистотою и ясною болью как в неопикуемых очередях у ПУПО-ПРИПУПО ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Сам не понимаю: почему?..

Человека, в принципе, унижить совершенно невозможно, хотя унижен бывал человек и унижается ныне ежесекундно, иными словами — стремление к унижению человека вся и всем, в том числе и самим собою, к сожалению, бесконечно.

Но, опять-таки, именно там, в тех очередях, Образ униженности человеческой предстал дрожащему моему сердцу с предельной полнотою и ужасающей завершенностью... сам не знаю: почему?..

А с другой стороны — где же еще как не возле ПУПО-ПРИПУПО может обнажиться столь кровоточаще и столь жалко зависимость Царя Природы от ничтожнейших, карикатурнейших, кричаще уродливейших обстоятельств (это — очевидно и безусловно), даже близко не лежавших рядом с истинно трагическими и величественными Планами Творенья.

Человек, кстати, ведет себя необычайно вздорно как по значительным, так и по малозначительным поводам, ропщет, невзирая на страх перед законом и неминуемое возмездье со стороны частных лиц.

Однако, в почти недвижимых подчас очередях приходилось мне наблюдать в некоторых типах личностей умонепостижимое смирение, туповатую покорность, унылое согласие со своеводем, изгиляющегося над человеком и обществом, Рока, философическое терпение, открытое приятие обиды и безграничное властвование над собою, никак непереносимых в иные моменты, чувств вины, застенчивости, пересмотра порочных принципов жизни и прощения ближнему мелких бытовых пакостей.

Разумеется, в памятных очередях замечал я странное явление непостижимой потери въедливого интереса к отвратительному устройству нашего государства, к его самоубийственной внешней политике и к зловредно-бездарной самодеятельности внутри собственных географических пределов, поражающих знатоков неосвоенной необъятностью.

Вульгарный или, что одно и то же, либеральный социолог мог бы с энтузиазмом, если не со злорадством обвинить ненавидимую всеми нами Советскую власть в намеренном конструировании очередей подобного типа с целью отвлечения любопытствующих умов от хулиганской практики своих легендарно-незыблемых устоев.

Я лично не смог бы согласиться с таким возможным поверхностным выводом, начисто лишенным касательства к философии трагизма жизни.

Какое там "намеренное конструирование"!

Не сомневаюсь, что вышеупомянутая Советская власть не прочь бы, хотя и без особенного удовольствия, выкинуть на рынок побольше разнообразных продуктов и товаров, заткнув тем самым глотки критикам режима и ревизионистам всех мастей за границей и дома. Не прочь...

Но сделать этого она не может по многим причинам, жестко и, более того, неумолимо обусловленным ее собственной неудачной сущностью.

По тем же самым причинам, скажем, немецкий фашизм не мог быть гуманным на оккупированных землях даже не для туманных идеалов самого гуманизма, а ради своей же зверской стратегической выгоды...

Человек же при отсутствии ПУПОПРИПУПО неизвестно на что способен, если у него нету после просыпа уверенности в опохмелке, еще более необходимой, чем воздух для дыхания и вода для выведения из организма продуктов распада алкоголя и кильки в томате...

Без воды ты, братишка, того... как и без воздуха, загнешься, сам того не заметив, а не опохмелившись, промучаешься лишнее жизненное время, после чего, если даже не врежешь дуба, то надолго потеряешь бодрый интерес к семье, к культурным ценностям и к борьбе за мир во всем мире...

Человек, лишенный с безжалостной силой последней из возможных в советской жизни надежды на опохмелку, действительно, способен на все. Он может зарезать перочинным ножом соседку-пенсионерку и вынуть из ее кошелька ровно два рубля двадцать копеек — ни одной больше — дабы распить себе в подворотне свою чекушку, поболтать потом пяток минут с алкашами о вчерашнем хоккее и пойти с повинной в милицейскую часть... Было такое дело в нашем микрорайоне...

Человек, не обнаруживший по какой-то причине в своей кладовке припасенную после годовщины октябрьской революции винную тару, приблизительно, на три тридцать шесть, не считая майонезных банок, продает за бесценок полупальто, огорчительно напивается и у него останавливается сердце от избытка выпитой сивухи... А сдай он посуду на трешку с лишним, то и ничего с ним не стало бы. Жажнул бы и двинулся, как всегда, в полупальто на завод "Заветы Ильича".

...Не будь очереди — мы давно потеряли бы остатки чувства личности, смешавшись с безликой толпою себе подобных человек.

...Алкоголизм запретить можно сию секунду. Тут риск у партии небольшой. Попробуй запрети ПУПОПРИПУПО! В очереди нашей, кроме нас — алкашей, выстаивают и невинные жертвы низкого уровня советской жизни.

У них детишки дома голодные, сами не жрамши после пары дней самозабвенной гулянки, а кормилицы вот-вот вещички начнут выносить из дому какие попало и ломбард закрыт в свою очередь... Ни за грош спустят телевизор, обручальное кольцо, настенные часы, поскольку ручные давно пропиты, удочки, резиновые сапоги — что под руку попадет, то и спустят кормилицы, разгневанные пребыванием в коммунальной пустыне, изжогой и головным треском...

...Если же сначала запретить ПУПОПРИПУПО от населения, то куда же, спрашивается, господа, девать пустую посуду из-под последнего алкоголя, из-под прощального портьешка, из-под лихо закупленной в конце времен дюжины плодоягодной заразы?.. Что делать прикажете с мутнозеленоватыми, бормотушно-вермутовыми стекляшками?

Пусть даже произведет бесчувственное, в общем, государство широкий жест после запрета алкоголизма и прикажет принять от нас за полцены угрюмо-пустую посуду? Что проку от нее человеку, давно настроенному на привычный лад и не готовому еще к революционной перестройке всей своей утренней жизни?.. Что ему горстка монет с парой рублишек?.. Что купишь на них?.. На что употребишь?.. Унылый стон может изойти внезапно из пораженной безнадежностью человеческой груди, и тогда уже ничем не помочь многим и многим... Только внешне будут считаться они советскими людьми, внутренне же неизбежно явят собою закоренелых инакомыслящих, что и поставит, опять-таки, в свою очередь борьбу Партии с инакомыслием на новую, еще более сложную, неведомую

ступень... Не пойдет на это Партия... У нее тоже должны иметься страхи... Не будь у Партии никаких страхов — она моментально превратила бы мир в войну, очистив предварительно весь тыл от недоброкачественного населения и, запретив получившим разрешение на дальнейшее проживание все, что еще запретить осталось... Главное — чтобы не было войны.

Нестройные сии высказывания, господа, не есть поток моей собственной речи, но результат смешения различных мыслей и мнений населения, услышанных мною в многочисленных очередях у ПУПОПРИПУПО.

Принимаясь за первый рассказ, хочу предупредить вас, господа, что не собираюсь, так сказать, олитературивать течение речи бывших моих товарищей по социальной нужде, как это советует сделать один знакомый умник и большой, как ему кажется, знаток правил обращения с жанрами и даже целыми стилями... К чертовой матери этих умников, да и само пребывание в пресловутом литературном процессе.

Выберемся-ка лучше на блаженный бережок, передернувшись от ужаса и омерзения... Пусть плывут себе мимо нас достойные и недостойны: тела и туши, отхлебывая вместе с чистыми водами зловонные нечистоты — остатки неразложившихся традиций... веяний... направлений... школок... группочек... групп... общепринятых положений... удачливых мод и пошлых штилей...

Пусть плывут себе с яростной надеждой впасть однажды в желанную Лету те, в ком не могут быть невозможны потуги на соответствие известным образцам и на блистательные триумфы в массовом заплыве... Пусть они плывут...

Среди них, в том же, как бы безбрежном литературном процессе, находятся толпы любителей изначально обрекшие несомненные свои таланты не на благородное, рискованнейшее саморазвитие, а на унижительное для Божественной природы любого творчества и личности художника похабное и жалкое подобострастье... Пусть они плывут...

На бережках есть место для всех, желающих отдохновенного самовыражения, а не обретения некоего значения в завлекательных пучинах литературного потока...

По моему убеждению и по наитию моему, даже если полнейшего кретина с едва тлеющим в его голове сознанием и минимальным запасом слов не окунать с малолетства в сливную жижу литпроцесса, если не смущать его пребыванием в этой жиже непревзойденных гениев прошлого и истинных мастеров настоящего, считающихся по грубейшей ошибке обывателя и злой воле критиков-убийц вечной принадлежностью жижи, а дать ему — крестину — попробовать сладости свободно излившегося из сердца самовыражения, то мы несомненно узнаем нечто потрясающее о так называемой внутренней жизни самовыразившегося существа, поразимся его живым, не стилизованным впечатлениям о приятных и уродливых явлениях окружающего мира и общества, и уж, конечно, лишней раз убедимся в волшебной неповторимости пускай ничем не выдающейся личности, прости Господи, кретина...

К счастью, большинство людей удерживается каким-то непостижимым образом от сокровенного стремления к публичности самовыражения. Если же ничто бы их от этого не удерживало, то все автоматически превратились бы в один прекрасный момент в оригинальных писателей, а литература, в привычном понимании этого слова, вмиг прекратила бы существовать от положения, кажущегося сейчас абсурдным и смехотворным — от исчезновения с лица Земли писателей не оригинальных...

Точно так же в конце нашего столетия кое-кто рискует поговаривать о том, что нынешняя литература дышит на ладан по причине отсутствия писателей оригинальных...

Пресловутый литературный процесс грозит захлестнуть блаженные свои берега — местность милого и свободного отдохновения душ — синими трупиками дарований и серобуро-малиновой с продрисью блевотиной циников двух типов. Одни гнусно выдают себя за жрецов искусства, принадлежащего, предположительно, разумеется, народу, стада других с блядской жадностью и удушающей бездраностью альфонсируют на убивающих время Масссах.

Пусть себе бушует литпроцесс. Пусть взбаламучивают в нем дерьмо и мусор суетливые рабы подобострастья. Ни ему, ни им не выбиться за порог Настоящего...

А выбравшимся на бережок, а никогда не попадавшим в жижу литпроцесса по везению случая, глубокому сочувствию Ангелов или необычайной мужественности Муз, вообще, выбиваться больше никуда не надо.

Потому что выбиваться, собственно говоря, некуда.

А если и есть куда, то это уж, господа, не наша забота...

ПРИЗНАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЕКСОТА

Дело было, надо полагать, зимой. Говорю "надо полагать", ибо в тот, нынче вспоминаемый день, похмельное мое сознание пребывало в настолько мерцательном и тусклом виде, что ему было не до обмозговывания ряда каких-то очевидных обстоятельств.

Не все ли равно сознанию, если оно, вообще, готово отмерцать при небывалом сужении сосудов, что за время года на дворе, какое вокруг располагается жестокохарактерное государство и в каком, собственно, теле оно еще мерцает — в теле муравьеда, изнемогающего от шевеления во рту живой, спирто-смердящей массы, гиенокошки с вылезшими из орбиты гнойными глазками, или давно знакомого сознанию полуоде-того кентавра...

Поверьте, господа, в результате многолетних злоупотреблений, в момент критического сужения сосудов как головного, так и спинного мозгов, не говоря уже о сосудах замирающего сердца, стал я привидиться самому себе в ужасающих обличьях... К чести своей — лишь в ужасающих.

Никогда не привиделся я себе ни в обличьях наделенной властью свиньи, ни известного артиста в ратиновом пальто, ни директора Центрального рынка, ни теоретика физики, ни даже продавца винно-водочного отдела гастронома №1. Никогда...

Привычной всего, повторяю, было мне ощущать свой надтреснутый организм в форме кентавра...

Ежели накануне, то есть дней за семь до вынужденного стояния в очереди у ПУПОПРИПУПО, жрал я нечто аристократическое типа водки с коньяками, то полуодет бывал снизу. Верх же весь приходился на голую лошадинообразную внешность, с прядяющими от каждого мелкого звука, ушами, отвисающей губой, желтыми зубами и с глазами в темных очках.

В них мир не казался ярко торжествующим над моим паразитическим ничтожеством.

А очередища и не к таким видам привыкла.

Но если приходилось мне выжирать соответственно какую-нибудь очередную дрянь, сочиненную советской ебаной властью, то полуодетым я оказывался сверху.

На низ же я робел глянуть хоть ненароком, ибо кто вынесет такое захребетное зрелище без риска повредить остатки непоправленного еще здоровья?

Кто, не содрогнувшись до самого основания, способен обозреть открывшиеся ему сногшибательные подробности

в виде всего конского, вплоть до срамотствующей промеж буланых ног пегой тряхомудии, хвоста, засоренного репьями быта и необутой парнокопытности? Да никто не сможет...

И я не мог, но вынужден был тратить остатки разумной воли на изгнание из пылающего воображения нежелательных деталей своей опустившейся внешности...

Так вот — я погибал в то утро, господа, двигаясь вместе с соседями по очереди к желанному проему ПУПОПРИПУПО. И всенепременно погиб бы, ежели не привык к погибанию подобного рода.

Уже готовилась верхняя моя полуодетая половина всхрапнуть от недостатка воздуха и слюны, а нижняя откинуть копыта, уже смирился я с тихим, с медленным, как в помещении кино, гаснущим в сознании светом дня, но был неожиданно возрожден к бытию случайным спасителем...

Кто-то тыркнул меня ощутительно в бок так, что дрожью передернуло мою шкуру и грубо сказал: "Приложись, современник".

Я приложился. О Боже, это было нечто коньячное... Жизнь буквально влилась в меня в тот же миг. Я смог выпрямиться, почуять, что у меня есть человеческие руки, а в них по авоське с посудой.

Спаситель мой помог мне не только водрузить ряды бутылок на прилавочек перед проемом, но и вытащить из них несколько пробок, без чего и лишился бы я необходимого полтинника. У меня не хватило бы ни сил, ни терпения, ни умения сконцентрировать бряцающие по бутылке пальцы на вылавливании сволочной пробки в зловредной бездне зеленого стекла.

Затем я подождал в сторонке спасителя. Меня била дрожь возвращения жизни и безбрежной благодарности. Он, выйдя, предупредил мои, готовые сорваться с губ слова...

— Со всеми бывает, — сказал он. — Пошли, дернем, как следует.

Я предложил угостить его. Он решительно отказался, и мы благородно скинулись. Взяли жареной кильки, сырок "Нева" и немного хлеба — закуси, имевшей отношение к морской, речной и земной стихии.

Так выразился спаситель и пояснил с воодушевлением человека, предвкушающего близость чудесного, долгожданнейшего момента, что в нас с похмелья не хватает минеральных элементов и, разумеется, элементарных минералов.

— Китайцы и японцы, — сказал он, — никогда не косеют, так как хавают продукты морского океана, а русский народ — вечно косеющая мудила, потому что не берет по тупости сахалинской капусты, но тычется пяточками в квашеную, от которой лишь пердеж пробирает, да сводит зубы... Это мне свояк докладывал. Он шпионил в Токио. Ежедневно надирался водкой тамошней "Банзай" и закусывал только морской капустой. Ни в одном глазу и к тому же сухостой тонуса члена. Минерал сходу в него вдаряет... Возьмем, пожалуй, грамм двести.

Поправились мы во вновь открытой общественной уборной. Там было тепло, как дома, светло и мухи не кусали.

Мария Ивановна — смотрительница этого заведения, получила с нас полтинник авансу, поощрительное обещание отдать ей пустую посуду, но велела слить через полчас.

Оба мы взобрались на унитазы и возвысились над разделяющими людей постоянными перегородками.

Стаканы, одолженные Марьей Ивановной, две бутылки "Хирсы" и закусь мы разложили на крышках бачков.

Не знаю уж как удалось мне забраться на унитаз. Ноги дрожали. В глазах была тьма со слабым подсветом. Желудок рвался неведомо куда, и вверх, и вниз. Печень, словно чугун-

ная чушка, тянула тело вбок и к тому же перекачивалась в остатках брюшной жидкости...

Если бы не влекущий к себе вид стоявших уже на унитазах бутылок, не уверен, что справился бы я сначала с одной ногой, потом с другой и, вообще, удержал равновесие. От рук же моих толку было мало. Это были скорее подбитые крылья, а не руки. И пальцы дрожали так, что подсунул бы кто-нибудь под них в тот миг солидный рояль и — выбили бы они из струн виртуозную, душещипательную пьесу. Из-за перегородок спаситель никак не мог мне помочь.

Но подъем, наконец, остался позади. Насколько величественнее все же, неизмеримо труднее, опаснее и неблагодарней, подумалось мне тогда, некоторые действия, совершаемые человеком внизу, в ногах, так сказать, у самой жизни, а не в тщеславном воздухе восхождения на равнодушную вершину, где победитель-мудозвон устанавливает флаг государства, топчущего достоинство личности злодейскими правилами сдачи пустой посуды.

Но... полстаканчик портвейна, шмоточек странной морской капусты с килечкой, поднесение к нюху кусочка хлебушка, пара богатырских криканий надтреснутой в борениях с Рокком души и — разобрались в момент пальчики: кто из них есть кто, сердчишко, печеночка, железочки всякие, кишочки, почечки, пузырьки и различные тракты прекратили бессмысленные препирательства с организмом, омылись мутные очи первой выделенной слезой, утвердился в прежнем желании потреться, совсем было онемевший язык — я поправился наконец...

Может быть, разве в злобном мгновении тому назад мире что-нибудь такое ничтожное, чего бы лишился, внезапно поправившийся человек своего открытого, честного и благородного притяжения, и на что не распространил бы он безудержно приятственного расположения?... Нет, господа, и еще раз — нет.

В душе поправившегося человека вдруг происходит такое бурное, такое искреннее братание с отвергнутыми в разное время святынями семьи, собственности, любимого труда, бытовых обязанностей и разного рода долгов, что только еще ряд восторженных возлияний могут несколько остепенить рвущуюся из его горла речь и строго унять нетерпеливые жесты.

О, как тянет говорить человека, говорить, говорить путанно и стройно, даже не говорить, а как бы поливать сознание свое и собеседника целебной водою, словно зачавший от засухи палисадничек, не оставляя не политыми ни комочка земли, ни ростка, ни листика, говорить, не сомневаясь ни на секунду в том, что речь его необходима в сей требовательный миг не только опустившимся людям и вконец изолгавшемуся миру, но и Высшим Силам.

Кто-то из нас должен был, однако, молчать и слушать. Это был я. Говорил мой спаситель. Он имел на это полное право и, чувствовалось, давно мечтал выговориться. Вот его рассказ, не поправленный мною при записи ни в единой букве, то есть убереженный от хамского и самодовольного изуродования каким-либо шустрим литобработчиком, возомнившим себя сдуру художником слова, но начисто лишенным воображения, не посещаемого даже изредка озорными и страстными Музами...

Ты, современник, поверь, что, если бы народ наш великий не был оторван от морской пищи, то ему вообще цены бы не было. Потому что мне покоя не дает какая-то Япония. Всю ее без труда можно разместить в самых непотребных наших республиках Мордовии и Чувашии с Ханты-Мансийским округом, народец у нее низкорослый и в очках, но жрет

морскую еду в виде коньков, медуз, гигантских таких мандавошек, забыл ихнее название, подводной капусты у народца этого неслыханное количество, а раковин всяких, где устрица лежит, как биток в закусочной, прямо на тарелочке, вообще, не счесть.

А трепанги? А крабы? А эти самые... омарксы красные?... О рыбе я уж не говорю...

Зятек мой так и доносил сюда, в верха, что мяса не едят совсем и пьют за обедом горячую водку, ссаки которая по-ихнему называется. Ведь ты погляди, современник, до чего исхитрился японский народ: смекнул подогревать водку. Просто ведь рядом лежит у всего русского народа на глазах такое решение, а он, гад упрямый, наоборот, в холодильники тычет водку, на морозе ее вывешивает там, куда техника еще не дошла, и подохнет скорей в тайге и зимой на стройке, чем подогреет в котелке стаканчик и заест его не колбасой крахмальной, но морской капустой...

Вот и гляди: Япония обогнала весь мир по автомобилям, у нее Америка на коленях просит скромности в этом деле, радиотехникой уши забила даже папуасам и пигмеям, гондошки выкидывает с усами на рынок по таким низким ценам, что Голландия просто руками разводит от удивления, а сделать ничего не может. ООН мешает...

Зятек мой такого насмотрелся в этой Японии, что запивать начал. Наперсток выпьет ссаки тамошней горячей и чует шурумбурум в голове. От него донесения красочней становятся и тянет к гейшам.

Гейша, по словам зятка, современник, это такая, покупаемая в розницу дамочка, которая тебя за пару часов обслужит лучше, душевней и честнее, чем советская какая-нибудь супруга за всю жизнь.

Она и на стол накроет, и не зарычит лишний раз при этом, она почитает тебе "Вечерку" с "Советским спортом", капустки морской поднесет, ссаки поднесет в красивой чашечке и вокруг побегаёт на деревянных подошвочках, тук-тук-тук.

О поддержке разговора и говорить незачем. Вся — внимание, скрытый восторг и только веером обмахивается вежливо. Не встрянет, не перебьет речи подлыми вопросами насчет полочки и откладывания "капусты" на ковер.

В гробу я видал твой ковер. Я не лягушка и не курица, чтобы что-то от-кла-ды-вать. Ты глаза выкати на меня, как гейша, и слушай, а денег не проси. Я, может, еще и сам дам больше, чем просишь. Ты меня обслужи душой и телом по-самурайски. Я тогда вкальвать буду почище самурая на рабочем месте и по всем показателям и без туфты. Я тогда тоже гондошек навывускаю, да навывкидываю на мировой рынок не то что со сталинскими усами, но и с кырломырловской бородой. Я тогда завалю весь третий мир транзисторами и эмалированными шайками.

Извини, современник. У кого что болит, тот о том и говорит.

В общем, ссаки и закуска — только в Японии начало. Не успеешь отрыгнуть и в зубах поковырять бамбуковой зубочисткой, как начинается секс.

Зятек говорил, что секс в Японии уходит в глубину веков, тогда как у нас он начался сравнительно недавно.

Гейши обучены тысячам разных технических приемов. Попробуй запомни хоть десяток. Зятек записывать вынужден был порою, так как память просто отключается от удовольствия даже у наших шпионов и дипломатов.

Особенно же бесит меня не секс, этого ни у одного народа не отымеешь, но бамбуковая зубочистка. Ты погляди: вмещаем в себя сто Японий, под землю у нас столько добра разного, что на сорок историй человечества хватит, омываемы мы мо-

рями-океанами повсеместно, триста миллионов рыл толчется на этом пространстве, кто поправимшись, вроде нас, кто в изнываниях на служебном месте, но нету у нас почему-то не то что бамбуковых зубочисток — выковыривать из зубов у нас порою нечего... Что такое происходит?..

А вот никто не знает, что именно происходит в нашей стране. Поэтому, скажу от полного доверия к тебе, я и информую мозговой трест о мнениях и настроениях народа, расположенного в самой низкой плоскости развитого социализма. Я очереди посудочные держу на себе...

Советские люди думают, что к ним не прислушиваются. Прислушиваются и еще как. Там, в верхах, все известно. Материалы обрабатываются. Но обработчики-операторы — пьянь, сачки и шваль. На чем я остановился?... Ага.

Я тебе не вру. Моя красная книжечка в сейфе лежит, чтобы не потерял по пьянке, и я информатор самой высокой квалификации. Заметь — никого не продаю и источников слухов и мнений не открываю. Верхам и без меня известно, кто чем дышит, с приблизительной точностью...

В этом месте мой спаситель, назвавшийся, впрочем, Петяней, вынужден был прервать свой рассказ. Мария Ивановна, поднятой над перегородками шваброй, дала нам понять, что пора честь знать и смахиваться. Желающих поправиться становилось все больше и больше. Надвигался обеденный перерыв, не говоря уж о наплыве в сортир пенсионеров, которые забивали на бульварчике козла, а в заведение спускались погреть посинелые руки и задубевшие ноги. Да и сама публика зачатила что-то по той или иной нужде. Мы вышли на мороз.

Я чувствовал, что благородный поступок моего утреннего спасителя не должен остаться без соответственных последствий и, недолго думая, предложил направиться в ломбард, поскольку принял решение заложить костюм, подаренный мамой на день рождения. До лета я вполне мог обойтись без костюма. Друзья узнают меня и без него. В новой очередище Петяня продолжал свой рассказ.

В ломбардах я тоже потрудился порядком. В прошлом году на седьмое ноября получил повышение. В бутылочной сдаче настроения посложней и поразнообразней, а мнения само собой высказываются посущественней. Вчера вот даже проект был высказан. Хмырь какой-то взмечтал залить мавзолеей прозрачной пластмассой. Чтобы Ильич лежал в ней наподобие мухи в янтаре. Это сэкономило бы народу кучу "капусты", потому что, по мнению хмыря, за бальзам и прочий целебный гуталин мы платим Индии и Израилю ежегодные десятки миллионов. А они могли бы пойти на стройку новых ПУПОПРИ-ПУПО...

А другой хмырь доказывал, что будь у него лаборатория, откуда его пошарили за кражу спирта, он враз изобрел бы новый полимер для винно-водочной посуды. Полимер этот можно было бы хавать как, примерно, студень, включая пробку, и таким образом народ и партия убивали бы сразу пару зайцев. Если в их НИИ икру выдумали искусственную и сливочное масло, то посуду съедобную замастырить — пустяк. Выжрал чекушку, занюхал пробочкой, сожрал посуду и живи себе спокойно.

В общем, должность у меня не пыльная, но, конечно не то что у зятка в Японии была. Там гейши и горячие ссаки в фарфоровой чашечке...

А я ведь на шпиона в жизни шел... С детства, можно сказать, шел, но не дошел ввиду коварства судьбы и ряда иных неожиданностей подлого порядка.

Амплуа у меня было – рабочий паренек. Вася с Курской аномалии, фрей с гондонной фабрики и так далее. Овладел рядом профессий. Учил английский с грехом пополам.

Никита после смерти культа большой упор взял на шпионаж. Пошло пополнение кадров. Ну дядя и устроил меня на учет в органы по части информации. Я в гору двинулся. Бесстрашно проникал в любую среду и собирал факты.

Однажды в 56-м году слышу в очереди в баню, что советской власти в Венгрии пиздец приходит и надо бы сала венгерского с красным перцем запасти, а также бычьего вина.

Я даже банный день пропустил, но выдал рапортчику. Что ты думаешь? Через два дня войска наши туда вошли и повесили кое-кого за яйца.

Просил у начальства послать меня за рубеж. Начальство присвоило мне лейтенанта, но заявило, что у меня язык хреновый. Тогда я в ответ говорю: разрешите войти в легенду глухонемого. Цены мне в Англии не будет и в Индии тоже.

Начальство одобрило предложение. Экзамен мне устраивали. Стреляли под ухом. А на мне приборы были подвешенные. Ни стрелка не моргнула. Глухой и глухой. На немоту тоже с блеском выдержал проверку.

Два раза в очередях провоцировался, но не провалился. Двое гавриков пытались билеты на итальянский фильм взять без очереди. Я их отдернул. Один мне в глаза говорит: щыц, говорит, говно тамбовское. Другой же пидарастом обозвал мелкопупым... Я молчу. Глух и нем. Они еще меня пообзывали, прорвались к кассе и взяли билеты. Но я-то – ладно. Я на службе и в легенде. А прочий народ, думаешь, постоял за себя? Привыкли мы, современник, быть рабами. Привыкли. Так привыкли, что даже сомневаюсь я порой: не покалечили ли нас при культе до того, что все мы в известном смысле глухонемые? Нам по мордасам... нас по краману... нас по посуде, по продуктам, по одежде, по оплате труда, а мы дышим себе в немые сопатки, соплю утираем и проглатываем от партии и правительства все плюхи. Зря я тогда про Венгрию доложил. Зря.

Короче говоря, готовился я уже с подводной лодки вынырнуть у побережья Шотландии и приступить к помощи ирландским террористам, но тут Никите дали по манде мешалкой. Андропов в Москву из Венгрии прибыл и начал глаз точить на КГБ. Интеллигентами его наполнили, а нас – Васьков с Курской аномалии пошарили обратно в информаторы и в охрану членов политбюро. А чего их охранять? Кому это говно собачье нужно? Кто в них стрелять станет? Такие люди вывелись. Их бы всех по пять раз можно было бы укокать при желании. Все думают, что Ильин в бровастого стрелял самолично. А я предполагаю и знаю, что это Андропов направил дуло, чтобы убрать генсека, пока самого Андропова почки не доконали и прочая хворь. Надо же и ему погулять по буфету слегка...

Вот я и топтался у правительственных дач, как попка. Шкалик с собой брал всегда на дежурство. Засосу глоток, занюхаю мандаринкой или яблочком и снова топчусь.

Наблюдаю за жизнью правящего класса и как они бутылки не сдают, но выкидывают. Зажрались падлы и хер за мясо не считают, как в народе говорят...

Так бы, думаю иногда на морозе, залил бы зажигательной смеси в поллитровку и врезал бы в дачное окно под седьмое ноября. Там у них такие развратные дела происходят, что не стесняются и занавески раздергивают. Смотрите, мол, трудящиеся массы, как удовлетворяются правящие классы.

Вдруг подъезжает ко мне однажды "Волга" на трех колесах. Четвертое спустило. Старый большевик с красным рылом вылезает и говорит:

– Я заплачу, товарищ. Смените нам баллон. Я с домкратом не справлюсь.

В "Волге" две дамочки сидели. Одна сушенная уже, а другая помоложе. Черноглазая. Высокая. Физия широкая и длинная. На голове коса.

Отвечаю вежливо, что не выгуливаюсь здесь, а делом занят. Старый большевик говорит:

– Все мы, товарищ, делом заняты. Я в партии с 24 года. Не звонить же в ЦК по пустякам.

– Пожалуйста, – просит дамочка помоложе и язык облизывает. Кокетство наводит.

Плевать, думаю. Халтура никогда не помешает. Никто тут не жажнет в члена политбюро, если он даже мимо проедет, пока я баллон сменяю.

Сменил. Сунул мне коммунист пятерку. Я не беру. Он полагает, что мало дал. Но я и червонец не беру. Передумал я брать. Вдруг это проверяющие?..

Тогда сушенная говорит мне:

– Заходите к нам после дежурства. Наша дача в проезде Ленина на углу Розы Люксембург.

– Будем рады, – говорит молодая. – Как вас зовут?

– Петр.

– Не обижайтесь, что деньги предлагал. Великий Маркс считал необходимым оплачивать наемный труд. Что и говорить – принцип этот иногда выполняется не до конца. Заходите. Побалакаем, – добавил партиец.

Я пообещал зайти, так как сразу почуял сильное половое влечение к молодой и ниже-средне-сильное к сушеной. Такие отчаиваются на многое в постели юных холостяков.

Пришел сменщик к десяти вечера. Разило от него и отрыгивал он стюднем с чесноком. Я отлил у забора, в гостях стесняюсь отливать, и двинулся на дачу.

Прихожу. Стол накрыт. Телик включен. Сушенная в юбке ходит, а дочь в брюках. На стенах фотографии. Партиец, оказывается, полковником был в органах, а жена его майором. Служили в тюрьмах и в лагерях. Я получил на этот счет короткие пояснения. Полковник после первой чайную бабу снял с какого-то предмета на буфете. Это оказалась фигура Сталина по пояс.

– Нам ее эски отлили из чистого серебра на рудниках, – сказала сушенная, – но мы не собираемся переливать ее на кольца и портсигары, как некоторые.

– Да, – говорю, – при нем порядку было больше. Молодость женского пола брюки только на фронте носила и цены снижались регулярно.

По второй врезали. Песни начали петь советские и Никиту ругать за ревизионизм и горлопанство. Но главной его ошибкой, по словам полковника, было то, что он ввел войска наши в Венгрию. Надо же было врезать по Венгрии малой водородной бомбой. В следующий раз неповадно было бы иным сволочам бунтовать против органов. Посмеялись... Тут я бутерброд с семгой под стол уронил. Полез его доставать. А сушенная голову мою зажала между колен на секунду. Намек дала...

Дочь ее звали Марленой. Мы слегка потанцевали танго "Брызги шампанского". Фигура у нее была сильной, с тягой к власти в танце. Затем еще поддали с полковником под разговоры о былых временах славы вождей и страха народа.

Спать меня уложили. Поскольку я окосел. Ночью меня сушенная разбудила и быстро изнасиловала. Села на меня и слова вымолвить не дала. Ну а мне-то что?.. Я зверем был в то время на это дело, а баб не имел как следует. То денег нет, то негде. Организм же требовал регулярности в сношеньях.

Утречком позавтракали. У меня был выходной. На "Волге" поехали покататься.

Потом пора было и честь знать. Распрощались. Зовут на день рождения Сталина приходиться. Подарков, говорят, не надо.

Прихожу через недельку. Компания подобралась приличная. Трех человек я в газетных фотографиях видел. Большие люди. Но главное — начальник мой подходит и запросто здоровается:

— Привет, Поземкин. У нас тут, блядь, не высший свет, а народная демократия. Так что — не робей.

Посадили рядышком с Марленкой. Она в юбке была на этот раз. Волосы распустила по плечам. На двух языках трекает с какими-то дипломатами нашими.

Сушеная неподалеку. Со значением охотничью сосиску пожевывает и яйцо под майонезом, начиненное красной икрой...

Гость поднял полковник. Голос дрожит. Кланяется серебряному Сталину в пояс, с которого бабу чайную убрали, и говорит слова:

— Живы в сердцах... скорбим в распушенности нравов... ваше учение непобедимо внутри страны и на международной арене... Бывайте здоровы, так сказать...

— Ура-а-а, — забаззали гости со смехом и шутками.

Поддали. Марленка за коленку меня держит невзначай. Я тоже провел по ее ноге экспедицию вниз и вверх... Сытая баба. Гладкая, но волосом колется бритым, по всей видимости... Волос на женской ноге меня возмущает и вводит в псих... Однако, про него и забыть можно, рассуждаю про себя.

Потом снова тосты пошли, воспоминания и тоска по былому порядку, когда каждый из них был полным хозяином и мог лично расстрелять любую ленивую и вражескую шваль.

Окосел я порядочно. Все же — не шутка, что я в свои молодые годы с такими людьми выпиваю и закусываю. Кое-кто из них папаню моего знал по работе в органах. Мы его помянули с маманей. Она посуду мыла в Кремле и рак легких схватила от вечного пара и разной химии, которой яд на сталинских тарелках убивали вместе с микробами...

Потанцевали. Зажал я Марленку по-нашински, по-чекистски так, что косточки у нее хрустнули и фары на лоб вылезли от томленья. С парой дипломатических кобыл покружился для пушного тона. К сушеной не подхожу принципиально. Нечего человека будить и вскакивать на него, рот одеялом заткнув. Я тебе не лошадь Буденного. Я сам должен шагнуть на тебя, а там видно было бы.

Тут генерал мой отводит меня в сторонку и говорит:

— Ты, Поземкин, не зевай тут. Карьера сама прет тебе в руки. Приятнейший способ. Девка видная. Приданого на целый полк хватит. Я — за! Поздравляю.

— Спасибо, — отвечаю, хотя холодок у меня пробежал между ног. Волосатость ножная меня очень смутила, тогда как у сушеной тело было поглаже. Да и при таком раскладе трудно будет жить с тещей похотливой под одной крышей. Застукает, думаю, полковник и врубит в брюхо крупной дробью.

А генерал мой уже гость предлагает за помолвку и рекомендует меня как достойного члена семьи верного сталинца.

Что мне было делать?.. Была не была. Раздухарился... Нацелился, отвечаю, на будущую свою половину с первого взгляда и, как говорится, упал. Дружно пройдем рука об руку до заветной цели...

Гости почему-то загрохотали после моих слов. Генерал мой говорит:

— До такой цели и дурак дойдет. На такую цель народ подгонять не надо. Тут он без политических руководителей обходиться привык. Х-ха-ха...

Хотел я затем обжать посушественней Марленку в беседке, потому что, навозбудившись в танцульках и ходишь еле-

еле. С этим делом не шутят. А мне завтра в охране топтаться. Поцелуй пошли... Предлагаю по-папанински возлюбить друга друга прямо на морозе...

— Ты слишком горяч, Петушок. Хочу, чтобы все было как при царе в деле брака... Ты напейся воды холодной — про любовь забудешь.

— Хорошо... Извини... Но где мы жить-то будем? Надс бы нам отдельно.

— У нас две комнаты есть в центре. Туда переедем.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю.

— Возраст для нас не имеет значения. Ты ведь на человеке женишься, а не на возрасте...

На этот раз не остался я ночевать, хотя будущая сушеная теща оставляла настойчиво. Ну сука, думаю, погоди. Я тебе покажу, что такое моральный разброд в доме сталинца.

Генерал мой довез меня до общаги лубянской. Между ног все опухло и болит. Пришлось уборщицу-дежурную вызывать и раскошелиться. Она пользовалась с позволения начальства нашей возбудимостью и драла безбожно с неженатых телков втридорога. Однако — здоровье дороже денег.

В общем, на службе меня поздравляют, анкету велют писать в высшую школу шпионов и втолковывают, что у меня теперь манеры должны быть солидными. Воздух надо научиться не портить в столовой, что еще случается в наших рядах... все силы отдать изучению языков... усилить любовь к беззаветной преданности и бдительности.

В этом месте костюм мой был наконец принят. Я проводил его печальным взглядом в морозильную камеру. Выкуплю ли я его когда-нибудь?

Забыл сказать, что нами были допиты в очереди остатки целебного коньяка... Затем мы купили вермута и продолжили поправку здоровья в атомном бомбоубежище, где было вполне тепло и достойно. Петяня продолжал, закусывая сырком "Нева" и еще кое-чем, купленным в продмаге.

Свадьба, современник, была у нас блистательная. После ЗАГСа полковник-тестюшко на колени поставил нас перед Сталиным, с которого снова сняли чайную бабу. Повторили мы за ним какую-то клятву. Затем гулево пошло. Стюдень. Рыбка. Икра. Пирог. Поросенка целого внесли на трофейном блюде. Теща сказала, что ему цены нет, так как оно принадлежало королю Фридриху. Песни петь начали. Сначала про Сталина, потом блатные. У тещи коллекция была после службы на золотых приисках. Все — как в дыму, в общем, было. Свадьба... А я сижу, дышу, как зверь и в кровать рвуся. Месяц никого кроме уборщицы не имел. Сам Марленке шепчу:

— Давай... как при царе... чтобы простыня была... иначе говоря... алый стяг невинности бывшей...

— Не говори, Петр, глупостей. Лучше выпей еще и закуси.

Я и налакался постепенно в сосиску. Отвезли нас, не помню как, на машине в московскую квартиру на брачную ночь и оставили. Корзину выпивки и закуси дать не забыли.

Просыпаюсь. Рядом жена, а у меня башка на части трещается. Пускай поспит. Успею еще, думаю, отдулнуться. Вышел в сортир, а мне тут же какая-то шмагадявка пожилая заявляет, что у них по коммунальной квартире в кальсонах не ходят. Ей поддакивает сосед мужского пола. Просит одеться. Меня зло взяло. Цыц, говорю, обыватель херов. Что мне, в бальном платье спешить в сортир?

Я — человек простой. У меня тещь и теща из органов. Так что — сопите потише.

— У нас теперь другие времена, товарищ, не хамите.

— Одените, пожалуйста, что-нибудь на кальсоны, тогда уж занимайте туалет.

— А если, — говорю, — я обратно не дойду? Кто отвечать будет? Издеваетесь над оперативным работником?

— Давайте, товарищ, не ссориться. Но это в последний раз. Иначе... напишем в партбюро.

Вышел я из сортира в ином направлении ума и души. Оделся. Корзину вынес с выпивоном и закусью на кухню. Предложил выпить за мое новоселье и женитьбу... Советский человек быстро отходит... Еще человека четыре набралось в кухню выжрать стопку на халявую и закусить дефицитом... Выпили... Разговоры пошли... Затем отволокли меня в комнату мою и в постель к Марленке бросили.

Растыркал я ее и приступить хочу к делу... Уняла она мою пруть... Сходила умылась. Ложиться больше не стала...

— Хочу сказать, Петя, что я не девушка. Была изнасилована эсками-беглецами в пятнадцать лет. Их потом расстреляли на моих и маминых глазах, но мне теперь тяжело... так... сразу... сойтись с тобой... подожди...

Я после этих слов — руки под голову и смотрю злобно в потолок. Ничего себе брачная ночь. Делаю ряд рационалистических предложений с целью облегчить мое половое состояние. Она — ни в какую. И соседи, чую, под дверьми подслушивают.

Вдруг — телефонный вызов. Собирайся в момент, Поземкин. Машина уже вышла за тобой. Старшим будешь. Дачу Брежнева засыпало снегом. Быстро привести все в порядок.

Вякать насчет брачной ночи было бесполезно. Уехал я по заданию. Не каждому ведь такая честь — брежневскую дачу из-под снега вычищать и дороги подъездные налаживать. Бурный был снегопад. Сам Ленка вышел с семьей в снежки поиграть. Вот, думаю, чью-то дочку жажнуть не мешало, но куда уж нам с кирзовой рожой в шевровый ряд.

Поправился на морозе слегка. Разумянился. В кровать к Марленке меня снова поволокло — чистый жеребец. Кровь играет в мозгах, видения неприличные мелькают. Даже бритые ноги забылись. При чем тут, думаю с воодушевлением, ноги... ноги тут не при чем... нам детишков делать надо, чтоб играли на тестевой даче в снежки.

Являюсь домой. На столе записка лежит.

”Петя, меня тоже вызвали на срочное задание. Когда вернусь, не знаю. Целую. Твоя М.”

Вот тебе и на... Сел с горя на пол и прибегнул первый раз в жизни к онанированию...

В душе горечь и пустота. В организме остальном — желание надраться и обосрать всю мебель и посуду. Брачная ночь дается человеку один раз, быть может, а я на что похож?.. Что я парням по службе расскажу?.. Что в деревню напишу дяде и тете? Как мне в зеркало вот это на себя глядеть? Да такого в истории небось не было, что жених после брачной ночи сидит на полу и наподобие шимпанзе наяривает сам себя остолбенело. Выжрал затем всю водку и свалился. Просыпаюсь и тестю звоню. Тесть отвечает:

— Задание — есть задание. Вернется с него, тогда и понежишься. Время нынче особое. Позиции надо отвоевывать, сданные Никиткой. Приезжай, попаримся...

Попарились крепко. Тесть задрых в предбанничке, а ко мне на полок теща завалилась. Прodelал с ней все, что надо в печальной необходимости. Здоровье дороже.

Затем служба снова пошла и время побежало. Прибывает вдруг через две недели Марленка. Загорелая, ноги не бриты, костюм новый, заграничный.

Я без упреков встречаю и ни о чем не расспрашиваю. У нас служба такая.

А сам тактику решил изменить. Сели обедать. В коняк подкидываю жене таблетку снотворную, а себе, чтоб не спать. Я их на дежурстве выжирал бывало, а доставал у медсестры за деньги.

После обеда говорю:

— Давай отдохнем слегка.

Легли. Поцелуи пошли с объятьями, но в одетом виде. И тут я, сам не знаю как, задрых. Провалился. Просыпаюсь. Время — три часа ночи. Марленка книгу читает. Заснуть, говорит, не могу. Самолет время моей жизни нарушил.

— Да, — отвечаю хитрожопо, — на Кубу раз слетаешь — потом две недели мучаешься.

— Откуда ты знаешь, что я на Кубу летала?

— Мы много чего знаем.

Вот я дурак был. Дал Марленке не ту таблетку, а сам нажрался снотворной дряни. Она мне нужна для ночных дежурств в закрытых помещениях.

Выпили еще крепко. Разделись. На этот раз она задремала, а я приступил к медленному проникновению под трусы. Окосеть успел порядочно от выпивки и молодой страсти. Желая активной брачной жизни и — все. Точка...

Теперь ты войди в мое положение. Пойми меня, друг. Я отзыва ишу в чужой душе. Снимаю трусы с жены шелковые и что ты думаешь держу вдруг в своей руке?.. Понять сначала не могу. Полагаю — надрался и мерещится мне нечто ужасное от коньяка с таблетками.

Ташу лампу настольную под одеяло, и стон вырывается из моей груди ужасный. Прямо на меня глядит небольшой мужской член. Вбок свесился. Глазам поначалу не верю и в руку его снова беру. Да — именно это самое в дряблом и желтом виде, словно у Ильича в Мавзолее...

И бешенство меня взяло. Ах так, гаденыши! Продолжаете культ личности, значит, падлы коварные? Простому русскому человеку хер всучили в упаковке?

Что там у Марленки еще было кроме члена смотреть не стал. Схватил ее за ноги и к окну потащил выбросить с девятого этажа к едрене фене. С нами не шутят. Тут она просыпается и в ужас приходит, а я ее мудохать начинаю чем попало и куда попало. Зачем, сука, подлог устроила? Ты кому заячьи уши в дырявый мешок завернула? Убью. Не снесу измывательства над моей крайней плотью и справедливой душой. Убью.

Дрожит, шкура. Петя, прости. Начальство настояло. Я должна была стать выездной в замужнем виде, так как Юрий Владимирович запретил выпускать одиноких. Я же не виновата, что я такая.

— Не такая, — отвечаю, — а ”такой”. Убью непременно. Люди, — ору, — люди русские и советские, глядите, кого мне подсунули. Женщину с членом. О-о-о-о...

— Ах ты, паразит, тайну постельную разглашаешь? У тебя у самого рожа как распаренная жопа. Говноед тамбовский. Молчи, дурак. Спасибо скажи, что в такую семью вошел...

— Какую семью она нашла... Я твою мамашку деру, как сучку чуть не на глазах у тестя. Вы все — моральное разложение. Недобитки бериевские. Паскуды.

Хрясть настольной лампой ей по башке. А она меня стулом между рог. И пошла возня. Я в коридор выбежал и свидетелей зову поглядеть на женин член. Все выбежали спросонья. Кто откажется от такого театра? Сел я на пол и рыдаю в голос. Слыхивать не слыхивал о такой перипетии. За какие грехи это все на мою голову свалено?

Марленка тем временем в психушку позвонила. Приехали санитары с врачом. Я плачу и говорю, что так, мол, и так...

супружница с членом оказалась у меня... надули. Может, я еще кое-что болтал ... не помню сейчас. И поехал я с ними, лишь бы в доме прокаженном не быть рядом со Змеем Горынычем в юбке.

Но в психушке начали мне внушать, что никакого члена у Марленки не было и нет. Тебе, Петя, это по-пьянке померещилось. Такое бывает с пьющими. Хорошо еще, что промеж ног ты его увидел... Федякин, тот на лбу у начальника узрел. Причем целых два и светились они наподобие рекламы "Аэрофлота" – синим пламенем. Откажись от такого видения и пойдешь на поправку.

Я принципиально уперся. Решил правды добиться. Но недаром в народе говорят: где правда была, там хер вырос. Да еще какой! Доказываю. Жалобы пишу. Головой об стенку бьюсь. В буйное меня перевели. Туда, наконец, генерал мой явился. Завел такой разговор:

– В жизни, Поземкин, и не такие случаются происшествия. Мы вот Пеньковского недавно расстреляли. Был коммунист, а оказался полковник американской разведки. Про жену забудь. Считай, что выполнил с честью задание. Она у нас теперь выездная и пошла в гору в комитете советских женщин. Там тоже нужны, так сказать, кони с яйцами. Идеологическая борьба идет у нас с Западом не на жизнь, а на смерть. Поэтому ты дай подписку о неразглашении тайны полового устройства ответственного работника. В нем не это дело главное, а ум и воля. Мы тебе работенку подыщем славную и оперативную... Девочек с нормальным хозяйством в стране у нас хватит для тебя и еще останется.

– Обидно, – говорю, – товарищ генерал... обидно... партия прямо могла мне сказать и пошел бы я ради нее под трупы к самому черту... обидно...

– Партия, Петр, ничего не знала о двухснастности Марлены Федоровны. Но теперь она незаменима, потому что в зависимости от цели может за пятнадцать минут переменить пол в оперативной обстановке. Может и врага обольстить и жену его зажать. На Западе сейчас очень мода развилась на лесбиянство и педерастию, чем и должны пользоваться коммунисты. Понял?

Пришлось мне дать подписку о неразглашении, а в истории болезни написали, что кончились у меня маниакальные галлюцинации с навязчивыми идеями, и я больше не являюсь инакомыслящим.

После выхода вдарился я в меланхолию и философию. Каждую новую бабенку предельно обнажал и подозрительно выспрашивал. Мания преследования членом со стороны женщин с полгода меня одолевала. Лекарства пил.

Затем выбрал себе работку по вкусу. Я с народом хочу быть бок о бок. В народе вся правда и обида накоплена. Пускай партия знает про это. Иногда я сам кое-чего для выполнения плана подсочиняю, но персонально никого не продаю. Я по слухам и мнениям брошен работать. Приходиться, конечно, и распространять слухи самому в период обострения международной обстановки. Еврейскую тему в народе развивать. Таким образом, все говно от партии отливает в душе народа и подкатывает на евреев. А им не привыкать. Так уж устроена история...

Смотрю иногда, современник ты мой, в газету "Правда" и вижу портреты деятельниц комитета советских женщин... Плюю на них и многозначительно ухмыляюсь. Тут, кстати, слух пошел упорный, что Ленин тоже был двухснастный, а оттого и такой умный, лживый и жестокий, но проверить такое дело нет у меня лично никакой возможности.

Хорошо мы с тобой поправились. Увидимся еще. Завтра я стою в ковровой очереди. На той неделе в овощном. Там лук зеленый давать будут и апельсины к Новому году. Само собой разумеется – вредящих следует ждать разговоров и слухов. Так вот и живу. Жениться не хочу. Боюсь напоротья на такое же дело.

Скоро уж на пенсию выйду или в мавзолее переведут. А там работа – не бей лежачего. В мавзольной очереди все молчат, как рыбы. Каждый думает о своем. А о чем именно, никто догадаться не может. Есть у меня догадка одна, но я об ней промолчу.

А с тещей я иногда парюсь в баньке. Тестя же паралич разбил. Одели мы его в чекистский китель, ордена все нацепили и лежит он себе наполовину голый. Под себя ходит и подышать не собирается.

Ты извини, современник, что я без очереди не пристроил твой костюм, но не имею права нарушать конспирацию. Я в очередях – инкогнито...

Мы распрощались, не успев как следует надраться. Меня переполняло чувство жизни – сладчайшее и горчайшее одновременно. Вокруг продолжалась история в нелепой форме советской власти. Хотелось еще врезать стаканчик, но закладывать было больше нечего. Душа моя жила, однако, надеждой на случай, который есть ветренный родственник чуда. Он не замедлил представиться. Об этом в следующий раз...

«Стрелец» принимает объявления от издательств, книжных магазинов, музеев, галерей и другую рекламу, связанную с литературой и искусством.

Расценки на рекламные объявления в рамке

1 дюйм на одну колонку — \$7.00

Четверть страницы — \$50.00

Половина страницы — \$100.00

Целая страница — \$200.00

Объявления и оплату /чеки и денежные переводы/ просьба направлять по адресу:

Tatyana Goerner
104 Corbin Avenue
Apt. 3D Jersey City, NJ 07306
U.S.A

Марина Темкина

СТИХИ



В ГОРАХ

К утру живот засветится,
и складки опадают с краю.
От народившегося месяца
царапина не заживает.

От этой боли кто ж откажется!
Я и сама принадлежу
уснувшему в ногах пейзажу
вся целиком, как мужику.

82

Паричок леса
с остатком искры
с затылка слезший
лысой горы.

Вдоль дороги внизу
сама себя выгнав, пасу.
Ждут деревья, раскинув объятия,
увидав меня издали, братья.

янв. 84

Белолицая зима
сеет мелкой крупкой,
у соседки заняла
горсть в подоле юбки.

Друг на друженьку в окно
с состраданием глянем:
несъедобное зерно,
как мое маранье.

янв. 84

СОНЕТ: УЛИЦА РАДИЩЕВА, ДОМ 30

Все детство ожидание отца.
– "На Севере отец, в командировке."
Через свое лицо его лица
угадывание. – "Не морщи бровки...
так на него похожа... отойди
от зеркала, ты приросла!... и лоб не морщи,
ты думай гладко, за собой следи...
ешь, что дают, растешь Кащеем тощим."
Бессмертным. И на кончике иглы
душа. Им страшно умирать? не страшно?
Ушли. Оставили. Сползаются углы
огромной комнаты, огромной, как несчастье:
он где-то есть. И два окна. И в них
дубовый парк, мне заменяющий родных.

83

СОНЕТ: С ОВИДИЕМ

Он дым костра втянул и ощутил:
им удалась охота. Кровь из жил
животного стекла, запачкав с краю
простынку небосвода. – "Добываю, –
подумал он, – и я себе трофей," –
пятно узрев, и глаз-прелюбодей
зажмурился от сладости добычи,
забыв на миг, какую звезды тычут
судьбу. – "Известий если б я, как он,
не ждал из дому – вот где зрению помеха!..
как дразнит запах пищи и огонь...
но вредная привычка к человеку
прошла... и кто-то тянет за язык
сознаться: Боги, я привык, привык."

83

Любовь с Зимой не получилась.
Зима не появилась тут,
ее не снисходила милость,
на стороне ища подруг.
Весна в дверях, а я с весною
к любви теряю интерес;
но обнажение такое
во всем и в том числе сердец –
ты только тронь – вспорхнул и нету,
и только видели его:
кто зимовал в нем, тот – на лето,
как птица – и тютю того...
март 83

ТРУДНОСТИ АПРЕЛЯ

Затяжная атака весны,
молодое упрямство, беспутство,
все силенки в кулак – дотяни,
дотерпи, чтоб в пути не загнуться.

Ткань воздушная вброд подалась:
задевает покой, вездесуща,
и заминок предсмертная страсть
по весне растравляет все пуще.

Оживает. И краска к лицу
возвратится, исколет подранка
изнутри – по волокнам, мясцу
жизнь пробьется в досочке, болванке.

Мимоходом, по-женски ловка,
оправляет невзрослая зелень
неразглаженной юбки бока
на уже распутившемся теле.

83

1. СТРАСТИ ПО СТОЛИЧНОЙ РЕЧИ

Свечка московская с усмешкой
 Чоботом по лесенке неспешно
 с разворотом на площадке югенд –
 – штиль, кто этой мудрости пригубил.
 Стыд купеческий благополучен:
 лепишь как попало жизнь, коль случай.
 Кремль рекою чуть не подавился,
 сызмальства ей к юбке притулился.
 Снежный ком задворок подростковых,
 тупиков, строений. С полуслова
 ловленный заврался пустомеля,
 калачами языки черствели.
 Краснощечкий топ, укус морозный,
 нет таксомотора – все в извозе.
 Враз на кузнецовском на фарфоре
 проедали tempori et mori.
 – Матушка. Любовь моя. Голубка.
 Кто б молчал. Еще побыть бы тут-ко.
 Только б не домой. Родным пенатам
 дело до всего, придурковатым.
 (Зимние каникулы. Кто гонит?
 Девочка с проводником в вагоне.
 Ожиданье в многолюдном зале.)
 Так там говорили. Мы слышали.

2. СТРАСТИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ
 КЛИМАТУ

Дева печально стоит у воды,
 Праздный хибарик держа.
 По мотивам А.С. Пушкина

Выросли под дождь. Фасад замызган.
 Западают клавиши карнизов.
 Водосточных труб блатным куплетом
 по старинке: нет-мол-счастья-нету.
 Слух, латинской белены отведав,
 зарится на финский слог соседов.
 Дат, инициалов друг дотошный,
 век долдонит, книжный червь, лотошник.
 Островною речью захлебнулся,
 вполз на берег: не нащупать пульса,
 белокож мерзляк и узкокостен,
 ну, куда тебе на север в гости?
 А навстречу, растопырив руки,
 весь позеленел от старой скуки,
 шел собор, то сплющивал гармошку,
 то вздувал меха колоннам тощим.
 Солнце редко. Золотит отдельных рыжих,
 чтоб источник света был поближе.
 Рядом появленье Купидона,
 хоть и нагишом, вполне законно.
 Грудь – щупла, гортань-то худосочна,
 что издаст, и сам не знает точно.
 Тростничок-свисток, а валит сосны.
 Корабельной роце ломит кости.

янв. 83

НАС

1.

Белая выстирывает Ночь
 тень, заношенную от прогулок
 по прошловековым переулкам.
 Бедствует, и некому помочь.

Вдовая чиновница. Печать
 читанного, не припомнишь, где-то.
 Жилка голубая. Скрип паркета.
 От усталости не может спать.

Первым лунный вывешен лоскут.
 Вымыт, отбелен и прополоскан.
 Синяки зачищены до лоска,
 глазу закрываться не дают.

– Медный грош, серебряный алтын! –
 распрямилась над речной лоханью,
 дальние заставы освещая
 светом, исходящим от седин.

2.

Белизна съедает пятна слов.
 ни следа, ни эха, ни остатка.
 Жизни ткань подвержена усадке,
 попадая в руки бедных вдов.

Этой прачечной обязан всем,
 каждый ищет здесь миропорядка.
 Все анахронизм мы (опечатка).
 Город от крахмала затвердел.

Жизненного опыта лишен,
 свет ночной несет всепониманье:
 русской прозе жизнеописаний
 опыт эмпирический смешон.

Ночью пронизательная мысль,
 захотев к кому-нибудь прибиться,
 бодрствующего, как очевидца,
 осенит. И он готов. – Лечись.

1978

* * *

Ступени. Лестницы. И некие вершины,
 которым надлежит вот-вот открыться...
 Подъемы долгие. На горизонте пиний
 отставшие ряды.

Здесь жители и птицы
 с похожим профилем. Застряли насмерть камни
 в других камнях, запомнивших столетья.
 Рим сходится к реке для поминальной пьянки,
 и мост, слаб на ноги, старик: куда б улечься?..

Рим, 1979

**Читайте в следующем
 номере «Стрельца»**

ПРОЗА: МАРК ЗАЙЧИК, АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ, НАЛЬ
 ПОДОЛЬСКИЙ
 ПОЭЗИЯ: СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС, ПЕТР ЧЕЙГИН
 ВОСПОМИНАНИЯ МИХАИЛА ШЕМЯКИНА
 ИНТЕРВЬЮ С ОСКАРОМ РАБИНЫМ И СЕРГЕЕМ ЮРЬЕНЕНОМ
 СТАТЬИ О ЖИВОПИСИ, О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ В СССР
 ЦЕНЗУРЫ, РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ

Андрей Молчанов

(Автопортрет писателя
в тридцать лет)

Судя по предъявленным журналами снимкам, он не по-писательски хорош. Отменный экземпляр мускулинизированной мужественности, ухоженной и победительной. Усы, разумеется. Вы бы долго гадали, какую из двух сверхдержав представляет эта внешность, но отнести ее к атлетическим Соединенным Штатам вам бы все же помешало впечатление, сказал бы я метафизической сосредоточенности. Отнюдь при этом не угрюмой, нет: оживленной блеском известного лукавства, этакое инфернальное озорства.

Обаятельный образ, не правда ли?

И уж сразу о том, что на снимках не прочитывается: о главном свойстве этого писательского дара, сугубо национальном, по Достоевскому, качестве "всемирной отзывчивости". Уже первая вещь Андрея Молчанова — роман "Новый год в октябре" — обнаружил, что в русскую литературу, с той ее, с неожиданной стороны, вошел писатель с мышлением глобальным.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕБЮТА

Роман, вышедший в журнале с более чем 3-миллионным тиражом, незамеченным, естественно, не остался. Но тут любопытно вот что. Если исполненный доброжелательства "враждебный радиоголос" — мой собственный, посредством РС — отреагировал на дебют Молчанова незамедлительно, то официальная реакция в метрополии заставила себя ждать загадочно долго. Целый год длился немой процесс переваривания, после чего... впрочем, вот тексты, судите сами:

"Семь лет назад я, — пишет Владимир Амлинский в "Литературной учебе" (1, 1984), — набирал курс в Литин-

ституте, и в потоке абитуриентских работ мне попались рассказы Молчанова... в его рассказах была наблюдательность, стремление увидеть обычное в необычном, ожидаемое в неожиданном, но все же их портила облегченность... Впрочем, молодой литератор и сам не цеплялся за ученические успехи своих первых сочинений. Когда он заявил мне на втором курсе, что пишет роман, я только пожал плечами. Однако автор оказался упорнее и крепче, чем я предполагал. Четыре года он работал над романом, два года перерабатывал его. Сейчас роман увидел свет в журнале "Юность", надеюсь, что выйдет книгой. Но дело опять же в издательской удаче, не в том, что прорвался, выбился. Хотя и это чрезвычайно важно. Главное, с чем вышел автор к читателю. Роман Молчанова не легковесен, в нем есть острота, социальная наблюдательность. Он обнаружил способность видеть не только доброе, но и злое в людях. Его роман, казавшийся мне сначала рыхлым снежным комом, год от года утрамбовывался и стал уже не крепко слепленным снежком, а чугунным ядром, брошенным в противника.

Кто же противник? Ложь, фальшь, подмена подлинных ценностей сиюминутными, ускользающими, ложь, прикинувшаяся честностью... корысть. Есть сейчас такое модное понятие "вещизм", но не хотелось бы его употреблять в разговоре о романе Молчанова... Нет, все эти дурные проявления не просто клеймятся автором, он пытается понять их причину..."

При всей позитивности оценок нельзя не заметить, что Молчанов как-то пугает "ускользающего" претендента в учителя. Амлинский проглатывает слова похвалы, словно бы чуя нарастающую вероятность иного мнения. И стоит отдать должное "либеральной" чуткости: на пятый день после избрания Черненко в "Правде" (18.2.84) появилась статья некоей Л. Михайловой "Суть и краски слова":

"То и дело встречаемся мы на страницах книг с одаренной, но деспотической личностью, слепой и глухой по отношению к окружающим: и нам внушают, что именно такова ведущая фигура научного прогресса. А рядом как антипод подвизается некто с нулевым значением в теории, но зато — гений организации или просто изворотливый прохвост. Тогда вместо целеустремлен-

ности, принципиальности, философской наполненности и общественного смысла научных идей и споров читателю предлагается детально разработанная картина мелких склок.

Невозможно представить себе в подобной картине реальную личность того ученого, который движет советскую науку, завоевывает ей мировой авторитет. С творчески значительными людьми, обладающими широтой интересов, чувством гражданского долга, мы часто встречаемся на газетной странице, на телевизионном документальном экране, но как же редко наша художественная проза воссоздает такой тип человека! В свое время один из советских медиков с огорчением заметил, что в иных романах об ученых нет главного — атмосферы настоящей духовности, а царит какой-то интеллектуальный сумрак.

К сожалению, такие произведения продолжают писать и печатать. В прошлом году в журнале "Юность" появился роман Андрея Молчанова "Новый год в октябре". Редакция сообщила о своем дебютанте, что он по образованию радиопизик, заочно окончивший Литературный институт им. Горького. Вот вам явное доказательство разносторонних интересов и способностей современного ученого. Вот вам надежда на то, что автор сумеет точно и многопланово воссоздать знакомую среду.

Но — увы! — надежда не оправдалась... Никакой борьбы идей вокруг проблем, коему надлежит заниматься крупному НИИ, в романе нет. Известно только, что институт получил заказ на изготовление прибора для ранней диагностики рака, но главный персонаж, "шеф головной лаборатории" Алексей Прошин в заботе о своей докторской закрыл тему — и дело с концом. И никто Прошина не одолел. Да и нет никого, кто мог бы это сделать, в той среде, какую изображает Молчанов. Она состоит из мошенников, фразеров, горьких пьяниц, трусливых или доверчивых глупцов и любителей легкой жизни, каким во сне и наяву мерещится "волшебная дверка к безмятежной дали, где можно отдохнуть на каникулах от этой ненавистной работы и жизни". Нет принципиальной борьбы между персонажами, зато сколько угодно кулачных боев. Впрочем, Прошин и тут непобедим...

Но не думайте, что автор последовательно изобличает негодяя. Молчанов не сумел четко обозначить идейно-твор-

ческую "сверхзадачу" своего произведения, убедительно мотивировать поступки персонажей, а потому увлекся плетением эффектной интриги. Что ж, есть читатели, которым обязательно хочется найти в литературе что-нибудь "этакое", и не сомненно одаренный автор (я уверенно заявляю это!) в первой своей вещи угодил, к сожалению, именно им, принявшись старательно раскрашивать суперфон для супермена.

Ни четкой идеи, ни точного образного воплощения ее в этом романе нет, все здесь подчинено эстетизации внешних деталей и обстоятельств. Знание автором его основной профессии не принесло ожидаемого художественного результата...

Одинаково опасно для писателя как дотошное разглядывание вульгарных бытовых склок, так и воспарение к горным высям абстрактного философствования, когда жизнь теряет свои реальные очертания, конкретно-историческое наполнение..." и т.п.

От конкретного изложения сюжета "Правда" воздрожала — с тем, видимо, чтобы избежать излишней рекламы роману, главный антигерой которого (он шеф не только "головной лаборатории", но и международного отдела данного НИИ) начинает свой советский год в ненастном октябре возвращением из Индии, а кончает — за день до убийства в еще более "безмятежную даль" — в Австралию, откуда он вряд ли уже вернется, но где, возможно, еще бросит его на колени раскаяние: подобно Раскольникову, Прошин убил (о чем "Правда" умалчивает). Душу погубил ради этой самой Австралии, как цены оправдывающей средства. И вовсе не ошибочный звонок тревожит его предлетнее одиночество: "Вадима Люциферовича можно?" — Но не КГБ, иное ведомство выходит на сверхчеловека в момент его "освобождения"...

Можно, конечно, драматургическую выверенность романа снижающе представить в виде "эффектной интриги", но, как мы видим, при всей своей критической настроенности (что вряд ли ускорит выход романа книгой, уже объявленной в издательских планах "Советского писателя") даже орган ЦК КПСС одаренность дебютанта сомнению не подверг.

ВТОРАЯ ВЕЩЬ

В течение "андроповского" периода тираж двухмесячника "Литературная уче-

ба" — самого интересного из толстых журналов страны — от номера к номеру сокращали. Тиражом в 13460 экземпляров вышел 1-ый номер "ЛУ" за 1984 год, номер с повестью Андрея Молчанова "Путь" — таки обогнавшей "правдинскую" статью.

После полнообъемного романа о демоне, пытаемом Богом, — тридцать страниц текста об изнеможении неверия, в котором пребывает "человек Добра". По-прежнему Молчанов пишет "от первого лица", но на сей раз — героя "положительного": уроженца Тибета, гонконгского эмигранта, члена братства секты чань, врача и ко всему вдобавок — и тайного агента, к началу действия вот уже три года как "спящего"... "Меня маски, он искал лицо" — такой эпиграф предпослал своей повести автор.

Одно из ответвлений дальневосточного буддизма, чань нам известней по японской транскрипции: дзен. Однако, несмотря на убедительность, с которой изображено здесь самосознание, медитирующее по всем правилам дзен-буддистской психотехники (и по ее законам выстраивающее форму повести), сквозь раскосые прорезы этой маски гипнотизирует нас "всемирно-отзывчивый" взгляд современника из Москвы:

"— Тибет умирает, — говорил настоятель еле слышно, и глаза старика были закрыты — так легко воплощались мысли в слова. — Умирает, и перерождение его неизвестно, ибо он обитель наших богов и всего, что питает нас... Исконных жителей вытесняют пришельцы, они страшные люди, у них нет бога, и поклоняются они таким же, как сами, демонам. Здесь глухие места, и нас им достать трудно, но, сын мой, ты много лет бывал здесь, ты жил в монастыре, ты знаешь эти горы и эти леса... Здесь никто не охотился и не охотится до сих пор, но лес мертв. Птицы исчезли. Ты знаешь растения, тут много растений, но сила их оскудевает... Значит, нарушено что-то большое..."

Начало и концы операции, на определенном этапе которой американец Робинс пробуждает из профессиональной "спячки" своего агента в Гонконге, вынесены за скобки. Мистеру Тао, герою, представляют мистера Туна, которого дзен-буддист весьма сложным путем переправляет в Тибет, а дальше — "на север". Родину богов это вряд ли спасет, и все же удачно выполненное задание приносит герою удовлетворение.

"Что же... Я что-то сделал. Я не

знаю, зачем и ради чего, но это был труд. Увенчавшийся удачей. И я действительно рад. Как всякий человек рад завершению своего труда, даже если тот оказался бессмыслен при подведении высшего итога...

Как ручей переливается через препятствие, чтобы течь уготованным руслом, я ощущаю — гулко, пусто и глубоко, что испытание кончилось, и кончилось высшим благом, не сравнимым ни с каким другим, потому как все обретоено вновь — и маски, и мечта возвращения на привычный путь сбылась, и меня снова ждут цветы, созерцание и власть исцеляющего. И я стараюсь забыть о входах и выходах, связующих тот мир, что во мне, с миром, общим для всех. Безотчетно и непонятно мое уныние. Прочь его! Мне не на что сетовать. Я дарю страдающим счастье здоровья, я — человек Добра, и я могу сказать себе так, и не обману себя. Значит, я достиг многого.

Будда из той сказки, что отрекся от бессмертия ради людей, — высший Будда. Нет, я конечно, не он. Но мы близки, и он бы заговорил со мной.

Но откуда же это смятение, эта тоска? Вопрос "зачем"? У меня же есть смысл — врачевать, постигая природу сущего. Как у многих есть смысл в наживе, служении, политике, грабеже...

Я отхлебываю вчерашний холодный, густой кофе, и от него горечь комом, и я сглатываю этот ком...

Скоро день. Дела. Больные.

Что-то должно перемениться. Мне хочется, чтобы что-то переменялось. И не хочется, ибо есть страх перед этим. Нет, не хочется. Зачем?"

Это винчивание в отчаяние невозможности найти рационально-убедительный ответ на вопрос, которым заканчивается повесть Андрея Молчанова, — основной метод психотехники дзен, дальнойший "путь" которой через гибель "я" выводит к сатори — экстазу истины.

Ледяное пламя Эвереста сжигает маски бесстрастия на ликах будд, будисатв и сильных ангелов "страны Востока"...

Паломникам ее — наш западный привет.

Сергей Юрьенен

Карусель жизни и судьбы

Одним из бесполезных, горестных и не находящих в книге ответа является поставленный в ней вопрос: "Для чего нужна советская власть?" А и правда — зачем? Система ведь не приносит радости даже самим власть предержащим, не говоря уже о тьме ими гонимых и насмерть задавленных. По этому поводу автор пишет: "Я знаком с одним полковником, который, как мальчишка, более за диссидентов, любит Сахарова, читает запойно Солженицына, а работает зам-начальника политуправления армии... Ни парторги, ни министры, ни кагебешники не верят ни в какой коммунизм, их, как и нас, рабочих, подташнивает от этого давно издохшего слова. Их коллективный разум занят только одним: как бы подольше продержат нас в узде".

Есть в романе образ волка, воющего на луну в морозную зимнюю ночь, во власти одиночества, в полном забвенье безлюдной степной пустыни. Вой — это монолог волка, его исповедь, его плач, его страсть и мука, без которых жить ему нельзя. Монологизированные письма Алешковского, направленные от имени рабочего-карусельщика Давида Ланге каким-то мифическим родственникам в Америке — по сути дела тот же горячий и тягостный, но облегчающий душу и необходимый автору вой. Книга посвящена "Светлой памяти мудреца, весельчака, добряка Дода Ланге — самого близкого моего друга", а стал этот Дод и героем, и одновременно автором, человеком бывалым, в десяти щелоках вываренным и крепко знающим, почем фунт лиха.

Эпистолярный жанр, древний, как сама литература, — бывает редкостью удобным. За письмом автор может спрятаться, как за ширмой, и по собственной

воле кроить и перекраивать сюжет, менять композицию и беззаботно уходить в произвольные дополнительные повествования, которые к теме отношения, может быть, и не имеют, но общий дух книги обогащают и концентрируют.

"Карусель" до отказа набита этими сказками-байками, поучительными и забавными, достоверными и одновременно невероятными, которым при всей их невероятности можно с чистой душой поверить, потому что действие их происходит в самом реальном (зловеще-реальном) и в то же время совершенно ирреальном государстве современности. Почему-то когда читаешь вставные новеллы Алешковского, перед глазами возникает картина лагерного барака, невидимый рассказчик на нарах и затаивших дыхание эзков-слушателей, которые боятся пропустить слово. Да и как же оторвешься от совершенно жуткой и точно взятой из жизни (сама подобные истории слышала от переживших блокаду и эвакуацию людей) истории о людоеде, который приучился к людоедству во время голода при коллективизации, а потом уже вошел во вкус во время голода в Великую Отечественную и, сидя в тылу, обманом заманивал из госпиталя выздоравливающих раненых, поил их, убивал и пожирал с садисткой-женой.

Есть в романе и совершенно бесподобная по невероятной вероятности и вызывающая смех сквозь слезы — кстати, смех, наполняющий всю книжку, с первой строки до последней, — история о свадьбе ради прописки грузина-долгожителя с древней старухой, которая ни с того, ни с сего потребовала от новобрачного выполнения супружеских обязанностей. Сюжетный поворот, между прочим, как и в другой новелле — о женьтибе девственника-бухгалтера на стареющей толстухе, всюю рожающей детей, — совершенно в духе Юза Алешковского. Воображение его раблезиански неистощимо, особенно во всем, что касается сексуально-эротических сторон жизни. Хорошо это или плохо — пускай судит читатель, на суд которого выносятся и жаргонный, насыщенный нецензурной лексикой язык этой прозы. От себя добавим, что чересчур острые блюда пригодны лишь для очень привычных желудков.

Новелла о том, как карусельщик Ланге стал образцовым упаковщиком багажей евреев, отправляющихся в эмиграцию, показалась слащавой и сентиментальной, потому что уж слишком много охов и стонов посвящается этим

багажам, набитым барахлом, и честно, и нечестно нажитым. В любом случае, не в этом барахле счастье, и набитые чемоданы поневоле заслонили процесс неизмеримо более важный и значимый — само явление Исхода, которое преисполнено и смысла исторического, и — онтологического и которое найдет еще своих историков и исследователей. Сейчас, по горячим следам событий, возникла литература, как правило, сатирическая и поверхностная, обыгрывающая внешние стороны трагедии. В основу всего, как всегда, ляжет фольклор, а слово ОВИР станет для будущих поколений чем-то вроде библейских немислимых чудищ.

"Карусель" — книга в чем-то, безусловно, автобиографическая, тем более если вспомнить, что писалась она в Вене и в Париже в 1979 году, в пору начальных месяцев эмиграции самого автора. Тогда становится понятным удивительно личное отношение писателя к описываемому. Да, это вой одинокого волка, но в то же время это и вопль одураченного, это — поток извергнувшихся проклятий в адрес тех, кто изувечил, изуродовал столь страстно любимую, так высоко превознесенную им жизнь. Рефреном романа становится бессильно-яростное: "Не дает жить идеология и ее взбесившиеся слуги!" В конечном итоге это счет, предъявляемый государству, "насквозь просмердевшему от лжи и социального разврата своих руководителей", государству, в котором прожита вся жизнь и которому отданы все силы, все соки телесные и душевные.

Алешковский представляет счет за невинно погубленных и затравленных, за начисто истребленные слои населения России, за изнасилованное крестьянство и оболваненный рабочий класс, за такое непомерное количество страданий, унижений и смертей, когда "пухнут мозги в бесплодных попытках соотнести муки народа со "зримыми чертами коммунизма". Возвращаясь к вопросу "кому и зачем нужна советская власть", автор все-таки приходит к выводу, что нужна она великому множеству людей, имя которым — паразиты, бюрократы всех мастей, рвущиеся к удовольствиям сытой, бесплатной и праздной жизни. Алешковский ненавидит их, проклиная их. Может слишком назойливо, чересчур надсадно? Это уже вопрос авторского темперамента, но нам эта "назойливость" представляется совершенно оправданной, если учесть, что писатель смертельно боится дожить до того дня, когда, как он говорит, "какой-нибудь умник

залезет на мавзолей и призовет миллионы братьев и сестер расплатиться жизнью, кровью и нечеловеческой мукой за беспардонную глупую политику и ужасающие авантюры руководителей". Они, эти горе-руководители давным-давно подменили интерес к жизни подлинной интересом к зловещей игре в планетарном масштабе, и, увлеченные этой игрой, плюют на судьбы людей и на судьбы всего человечества.

Карусель — образ емкий и многогранный, исполненный большого и глубокого обобщения. В основе всего здесь прежде всего карусельный станок, на котором всю жизнь проработал герой романа рабочий Давид Ланге. Прощаясь перед тем, как уехать навсегда в эмиграцию, с любимым станком, герой обращается к нему со словами горькой скрытой надежды: "Прощай. Крутись. Может, еще свидимся. Мало ли что бывает. Может, еще ладим раскрутки..." Карусель — это обобщенный образ судьбы, водившей немислимые круги в "той жизни", оставшейся за плечами, судьбы горькой и тяжелой, но одновременно и сладкой, потому что дала она возможность изведать и радость бытия, и восторг перед непостижимостью челове-

ской души, когда на фронте человек, рискуя собственной жизнью, вытаскивал из могилы другого. Карусель — это образ судьбы неведомой, будущей, которая неизвестно что сулит и непонятно к чему готовит. Не случайно так сильны в этом произведении ностальгические мотивы, не случайно такой звенящей и вибрирующей оказывается лирическая нота расставания с родиной: "И горестным был мой безмолвный плач, как тогда в электричке, когда я последний раз возвращался с рыбалки и жадно глядел в окна вагона по обе стороны хода поезда, находясь как бы в центре громадной карусели и имея возможность взглядываться в следовавшие мимо меня по кругу до самого горизонта пространства". Карусель — это вообще образ пестрой житейской круговерти, где в одну кучу мешается и грандиозное, и ничтожное, и наша повседневная канитель, и события исторической важности. Последний и совершенно вещественный образ карусели, настоящей, крутящейся, со зверями из папье-маше, появляется уже в конце романа в венском парке Праттер, куда завихрения судьбы, наконец, забросили героя. Весельчак, жизнелюб и оптимист Давид Ланге, взгромоздившись на страуса и предаваясь невин-

ной детской забаве, как всегда доверчиво отдает себя во власть Бога, благодарит Его за все, и потому счастлив.

Новому роману Юза Алешковского свойственна общая стилистическая интонация автора. В своей основе она исповедальна, что позволяет смешивать потоки, казалось бы, несоединимые — сугубо реалистический с отчаянно-авантюрным, нарочито-бытовой с памфлетно-гротескным, нежно-лирический с переходящим в прокламацию публицистическим... В этом сила, но в этом же и слабость Алешковского, который в полемическом задоре теряет порой чувство меры и заставляет своего умного и скептического героя "учить" заморских родственников с помощью детсадовских аналогий: "Представьте, дорогие, что в один прекрасный день ваш Джо пошел развлечься на биржу и не вернулся" (это по поводу переживания родных, когда Давида хватают на улице и он, жестоко избитый, исчезает в психушке). Но это, как говорится, издержки стиля. В целом же новый роман Алешковского стоит, по нашему мнению, на уровне его лучших произведений.

Маия Муравник

РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.

Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Проза. Поэзия. Жизнь российского зарубежья.

Подписная плата на год

	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

	Воздушной почтой:		
	119	228	445
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.

Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.



ШЕСТАЯ ГЛАВА

1.

В ВЕЧЕРА, КОГДА БЕСКОНЕЧНОСТЬ, РАЗБРЫЗГАВШИСЬ КУРИНЫМ ЖЕЛТКОМ, НЕ ПЕРЕПАЧКИВАЛА СИНИЙ ФУЛЯР НЕБА, МЫ БРОДИЛИ ПО УЛИЦАМ СЛАДКО ПОСАПЫВАЮЩЕГО ГОРОДА И ЗАГЛЯДЫВАЛИ В ЧУЖИЕ ОКНА.

Дерево, гнедое, как лошадь, ничего, вероятно, не имело против. Собака с плакучим хвостом придорожной ивы не сквернословила.

Лео восклицал:

— Это единственное культурное развлечение в Пензе.

— И принимался рассуждать о непреднамеренных актерах, значительно играющих для нас незатверженные роли. Он уверял, что теперь мы непременно бы заснули в Художественном театре, или в лучшем случае, шокированные грубостью, сбежали после первого акта к своим освещенным стеклам. По его мнению, шепелявость всегда вредит художнику.

— Не находишь ли ты, что Станиславскому не мешало бы иногда приглядываться глазом к замочной скважине. А то ведь глядя в зеркала воображает, что жизнь натуралистична. Вот про старика

Он ударил себя по лбу:

— И еще, по моему, не менее поучительно, прекрасно и в

— Это идея.

Однако не всегда мы возвращались домой в хорошем настроении. На манер болтливой библиотечарши, освещенному стеклу, а позднее звукопроницаемой двери или перегородке, подчас удавалось всучить нам чепуху и маловажность.

Надо сказать, что с каждой прогулкой мы становились придирчивей и придирчивей.

Если пухлая гимназисточка, вылезая из форменного платья, как розовая зубная паста из тюбика, оказывалась в целомудренных полотняных штанах, мой друг клеветливо говорил:

— В таком случае, у девчонки душа кокотки. Это еще неутешительнее для ее матушки. Я бы на месте старушки предпочел видеть на дочери невыразимые с инкрустациями.

Если же седобакенбардый чиншвик в ватном халате времен Первого Крестового похода, раскладывая в уверенном одиночестве гранд-пасьянс, не ковырял угоенно в носу, не вытирал извлеченную "козу" о доньшко кресла или по совестной обязанности не помогал кончиком языка перемещению карт, — мы считали, что он кривляется.

Однажды я очень обрадовался, увидав, как целуются молодые супруги.

— Смотри, Лео, им тоже ужасно мешают носы. Они ими все время стучаются.

— Это потому, что они любят друг друга.

А в день именин губернаторши мы подсматривали сквозь щель в шторах за сероволосой женщиной с глазами, украденными у Натальи Гончаровой. Женщина словно ампиристая колонна помещичьего дома была увита сентябрьским плющом прабабушкиных кружев, может быть, привезенных из Венеции прадедушкой — посольским дьяком.

Поправляя брильянтовый гребень в серых волосах, она за какую-то провинность так рассердилась на зеркало, что сначала не преминула ударить его длинной лайковой перчаткой, потом кулаком, а под конец еще и выругала, как будто не совсем прилично.

2.

Сероволосая женщина стала моей возлюбленной. В ту же ночь, может быть, даже в ту же минуту, когда она танцевала вальс с молчаливым губернатором, я, обжигая спиной сбившуюся простыню (возможно, что на простыне оставались золотистые полосы, как от слишком раскаленного утюга), уже проворливо требовал от нее непомерные порции клятв, предупреждая, что любовь, ограниченная какой-то жалкой вечностью, меня совершенно не устраивает. В ответ она зашивала мой рот горячей ниточкой поцелуев.

Я не проклинал быстропролетность ночи, потому что завтра между девятью и десятью утра (т. е. как раз в те часы, когда я буду сидеть на уроке немецкого языка, а она размякать в утренних сновиденьях) — мы, о могущество воображенья, прижавшись плечом к плечу, будем бродить по традиционной Поповой горе, позвенькивающей серебряным колокольчиком ущербной луны.

В Поповогорском парке не столь уж мало кленов, и она дала слово целовать меня под каждым деревом с листьями, напоминающими звезды. Я же обещал целовать ее под липами, с листьями, напоминающими сердце. А так как на горе не растет других деревьев, значит мы будем целоваться с ней непрерывно.

Мне только что пришло в голову, как резко не соответствует моя наружность моему воображенью, а воображенью мо-

его друга — его наружности. Разве мои мясистые щеки не вполне бы гармонировали с грубыми мечтами Лео, а его тело, имеющее сходство с ножницами для маникюра, тоненькими и блестящими, — с прихотливостью моих желаний.

3.

Оказывается, я напрасно не проклинал расстанье и ночь за быстролетность: нам не пришлось целоваться под листьями, напоминающими звезды.

За пять минут до звонка на молитву я встретил моего друга в гимназической раздевалке. У него был скверный вид. Я спросил:

— Что с тобою, Лео?

— Видишь ли, провел беспутную ночь с сероволосой красавицей.

Секундные стрелки его ресниц замерли на 60 и 30.

Я вскрикнул:

— Негодяй!

Он раскланялся, приняв мой стон за одобрительную шутку. Тогда я поднял руку, чтобы надавать ему оплеух, а он, решив, что я собираюсь заключить его в дружеские объятия, положил голову на мое плечо.

— Ах, Мишка, Мишка, ты же ничего не соображаешь. Ты болван. Чудный, милый болван.

Его голова лежала у меня на груди и тупо не понимала тюремной азбуки сердца, выстукивающего трагические ругательства.

— Ты, Мишка, без сомнения уверен, что если женщина не похрапывает у тебя под боком, а, скажем, танцует вальс с губернатором...

Я отстранил его и, пошатываясь, стал подниматься по лестнице, с грустью вспоминая шестнадцатый век, когда в России за воровство били кнутом из белой воловьей кожи или привязывали к вертелу и жарили на огне.

Как часто у прекрасного — судьба Джиоконды. Проклятая судьба!

Отпылав, я сравнил моего друга с Христом. Лучший из людей, которому Цельс никак не мог простить трусости в Гефсиманском саду и слабости на Голгофе, с такой же милой наивностью обокрал Ветхий Завет.

Только вчера, рассматривая картинку Дюрера, я случайно прочел в книге Левит: "Люби ближнего, как самого себя". А строкой ниже еще лучше: "Если пришлец поселится на вашей земле, то пусть будет и он для вас как туземец, люби его, как самого себя".

4.

Первый урок. Безгрудая немка прилипла к кафедре. Перед ней переминается с ноги на ногу Ньюма Шарослободский. В потных руках он держит маленькую тетрадку. Она хлопает крылышками, как тот голубокрылый попугай болгарина, что бесконечно мудрее жизни, потому что вытаскивает женам наших завальских сцепщиков, смазчиков и кондукторов только билетки со счастливой судьбой.

На кончике Ньюминого носа висит обычно капелька. Сегодня она представляется мне озером, падающим с обрыва. Мои мысли в нем отражаются наподобие лесов и гор. Я всегда должен проделывать подобную штуку, если хочу что-нибудь увидеть пояснее. Я гляжу в чернильницы, в стаканы с чаем, в пивные бутылки, в полированное дерево, в тарелки с супом, в

ромбы паркета. Только не в зрачки человека. Черные стекляшки приводят меня в ужас. Когда отец кричит: "Мишка, почему ты никогда не смотришь прямо в глаза, — будто наблудил, либо украл?" — я не знаю, что ответить.

"Так вот ты какая? Ах, колонна, увитая сентябрьским плющом! Ах, деточка, подравшаяся с зеркалом! Тварь. Грязная баба. На скольких еще кроватях валялась ты в эту ночь? Скольким ртам подставляла губы для поцелуя?"

Гнев и отчаяние растягивают мои орбиты. Глазные яблоки делаются арбузами, аптечными шарами. Они открывают для ревности необъятные просторы. Я начинаю понимать, что всякая моя возлюбленная, если б она даже оказалась, по случайности, столь же добродетельной, как моя мать, для меня будет чудовищем, в сравнении с которым солдатская девка или проститутка с Чернобанной улицы окажется олицетворением чистоты. Потому что каждый мужчина, — будь то первый встречный на улице, обронивший желание, точно пустую спичечную коробку, или мой друг, возможно, относящийся ко мне дурно из-за моей глупой повадки крутить бородавку под левым ухом, может сделать мою целомудренную возлюбленную — порочной полудевой, разъяренной самкой или изощренной профессионалкой наслаждения.

Я понял, что всякое сопротивление ее бессмысленно, невозможно. Она разденется тогда, когда этого пожелает заказавший ее своему воображению мужчина, — так заказывают в ресторане "стерлядь кольчиком" или "горошек по-французски". Ляжет, как собака, при слове "куш". Исполнит всякое желание, даже высказанное быстроговоркой, как у вешалки в театре: "Палку! Шляпу! Галоши!"

Разве я сам не заставлял воровку глаз целоваться со мной под листьями, напоминающими звезды.

Конечно, требования моего друга были куда грязнее и беспристойнее.

По всей вероятности, в ту же ночь ею не пренебрегло еще человек двадцать: и губернатор, и драгунский полковник, и управляющий казенной палатой, с ушами, закрученными словно бараньи рога, и чиновник особых поручений с губами негра, играющего на трубе, и бурлявый, как плотина, мукомол Панкратий Крухтий, и предводитель дворянства, веселый, как пупок, и его сын, красавец лицеист, приехавший по просьбе отца из Петербурга продирижировать мазуркой, и архиерей, грассирующий, как парижанка и затянутый в рясу, будто в шелковый дамский чулок, и лакей, обносивший пломбиром, и швейцар, уже сжимавший в объятиях ее ротонду, и кучер, коснувшийся ее колен, когда застегивал полость, отороченную медведем.

Сжимающая меня ревность готова была приписать желание дивану, на бархатных коленях которого она сидела; дверям, что раскрывали перед ней свое сердце; вееру, что нашептывал ей на ухо признания; музыке, с которой она сливалась; вину — вскружившему ей голову.

5.

Ньюма не знал, как будет по-немецки "спички". Саша Фрабер шелестел губами, завязанными бантиком:

— Zündhölzer.

Его шелест, не слышный соседям по парте, доходил до Ньюминого уха, потому что у Ньюмы наследственный абсолютный слух. Отец Ньюмы, Соломон Яковлевич Шарослободский, после одиннадцати часов вечера "маэстро". Маленький кафешантаный оркестрик Эрмитажа плачет под его смычок.

А с полудня до четырех с половиной — Соломон Яковлевич — зубной врач. У него грустная скрипка и веселая бор-машина. Он нажимает ее педаль всякий раз под какую-нибудь игривейшую мелодийку мадемуазель Пиф-Паф. У Соломона Яковлевича один белый халат. Когда халат в стирке, Соломон Яковлевич принимает больных во фраке. Это импонирует пензякам.

6.

Перемена. По коридору прогуливается Лео под руку с Сашей Фрабером. У моего друга сияющее лицо, словно он объелся созвездиями подобно автору Экклезиаста. Он присвоил себе счастье, как присваивают понравившуюся манеру или чужой каламбур. Впоследствии он также присвоит славу. Он положит ее в карман небрежно, как мундштук или зажигалку.

На уроке геометрии я уступил ему женщину, укравшую глаза у госпожи Пушкиной. Уступил уже после того, как просит ей губернатора, драгуна, предводителя, лицеиста, архиерея, мукомола, лакея, кучера, словом всех — вплоть до веера и шумановского вальса.

Почему я это сделал? Не знаю.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1.

А вот и конец истории: моя лошадь шарахается в сторону и удивленно, по-человечьи, скашивает глаза. Кобыла Лео длинноногая, черная, как еврейка, поднимается на дыбы и отмахивается, словно руками, от этого ужаса. Третья лошадь чувствует себя превосходно: играя порожним седлом, она перескакивает через канаву в траву.

У Лидии Владимировны вместо головы — кровавая лепешка. Серые, рассыпавшиеся волосы забрызганы кровью, костями, мозговой мякотью и черным фетром. Маленькая рука в молочной перчатке сжимает ивовый прут. Полчаса тому назад, поднося почтительно эту теплую, даже сквозь перчатку, руку к губам, я спросил:

— Разрешите, Лидия Владимировна, снять чулочки с пальчиков?

Она улыбнулась моему другу глазами, украденными у госпожи Пушкиной.

— Разрешается?

Она была нагоплена счастьем, как маленькая деревенская банька.

Лидия Владимировна лежала на спине, сжав колени. Выпавшая из пудреницы пуховка плавала, гильотинированным одуванчиком, в кровавой луже. Земля была влажная, глинистая. Она всасывала кровь медленно, смакуя ее, как старое вино.

Небо высокое, голубое. Немецкий аэроплан казался крылатым амуром, что вооружен луком и веселыми стрелами.

На голубое небо в пяти-шести местах упали очень милые снежинки, — не хочется думать, что это шрапнельные разрывы. Наши зенитные орудия обстреливали немца лениво, наперед зная, что проку не будет. А тот летал тоже без толку, прогулки ради (как петербургская дама по солнечной стороне Невского проспекта) — не пропадать же хорошему дню: почему не прогуляться за пятнадцать верст до ближайшего тыла противника, где, к несчастью, был расположен штаб нашей инженерно-строительной дружины, находившейся в ведении общественных организаций — земских и городских.

Лидия Владимировна была убита упавшим "стаканом", посланным от нечего делать русским артиллеристом в небо.

2.

Я кричу:

— Лео! Лео! Лео!

Его кобыла бросает мне в глаза копыта. Я вижу, как он рассекает ей голову промеж ушей стеклом и рвет блестящее брюхо шпорами. Кобыла вытягивается в карандаш. А ему, по всей вероятности, кажется, что она плетется мелкой рысью.

Я еще продолжаю на что-то надеяться:

— Лео! Лео!

Ведь он же знает, как я боюсь мертвых. Мне всегда чудится, что они со мной разговаривают. А от комариной капельки крови меня тошнит. В гимназии, на выпускном экзамене, когда у Ньюмы Шарослободского от страха пошла кровь носом, со мной случился припадок, близкий к эпилептическому. Припадок, как прачка, намылил мне губы и, словно игрок в домино, перевернул глаза с темного брюшка на белое.

"В конце концов, это его любовница. Какое мне дело?"

С присушим моему другу благородством, он уступил ее мне, когда ее голова стала отвратительной лепешкой, уснащенной густым липким кровавым вареньем — похожим на малиновое.

Сковорода сказал бы про мою душу, что она тощая и бледная, точно пациент из лазарета. А душу моего друга он бы, возможно, уподобил Библии, которая, по его словам, породила не львов или орлов, а мышей, ежей, сов, вдов, нетопырей, шершней, жаб, песьих мух, ехидн, василисков, обезьян и вредящих Соломоновым виноградникам лисиц.

3.

Дорога была обмазана солнцем, как иодом. От трепетаний прямых сосен пел воздух. Небо, спокон века набухшее голубизной и потому не впитывающее моего отчаяния, казалось тяжелее греческой губки, вынутой из горячей ванны. Если бы оно было тучистое или мглистое — дышалось бы легче.

Лошадь медленно передвигала ноги. Лидия Владимировна лежала поперек седла. Ее серебристые шпорыки игриво тинькали, худенькое плечо доверчиво прижималось к моим коленям, нестигающиеся пальцы не противились моему пожатью. Если бы у нее была голова, может быть я поцеловал бы ее в губы.

Я подумал о своем внутреннем хозяйстве. В эту минуту оно мне показалось образцовым. Вроде имения Константина Федоровича Костанжогло, где даже свинья глядела дворянином.

Продолжить прекрасного рассуждения не удалось — Лидия Владимировна скатилась с седла. Лошадь рванулась и заскакала. В ужасе я вцепился одной рукой в ногу трупа, развешивающего по ветру кровавые волосы, как знамя революции, другой рукой за гриву одуревшего животного.

Сосны звенели. Дорога, вымазанная солнцем, вертелась. Я закрыл глаза. Зубы кусали воздух. Сначала он казался жестким, как бифштекс, потом вдруг сделался жидким, как вода. Я стал захлебываться.

4.

Через три дня за Лидией Владимировной из корпуса приехал муж. Артиллерийский офицер походил на сельского учителя.

ля. Полковничьи погоны с белыми генштабистскими жгутиками, будто шутки ради были прицеплены к мешковатой гимнастерке, подпоясанной, как ситцевая рубаша. Стекла круглых очков были все время мутны, словно его глаза дышали. Рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать.

Он сидел у гроба, пощипывая редкую бородавку, непонятного цвета. А когда ему казалось, что никто не видит, он гладил Лидии Владимировны руки и по-домашнему, без попреку, протирал запотевшие стекла своих очков ее черной юбкой в шершавых пятнах от подсохшей крови.

5.

Лидия Владимировна лежала с закрытым лицом, а мой друг в 1922 году лег в деревянный ящик, будто в кровать к любовнице.

К последнему блестящему выезду его снарядила моя жена. Вытаскивая голову из петли, она прошептала:

– Ах, какой ужасно, ужасно непривлекательный!

И тут же вынула из гипюровой сумочки герленовскую губную помаду, карандаш для бровей, пудреницу и тушь для ресниц, так называемую "плевательницу".

Моя жена преобразила его в несколько минут. Белые, сухие губы стали пунцовыми и жирными, бровь изогнулась мефистофельскою презрительностью, а пыльные щеки заперсиковели.

Гроб с моим другом стоял в общественном здании. Мраморные колонны были одеты в пурпур и креп.

Знаменитые актеры читали моему другу Державина, Пушкина и Александра Блока. Скрипач с мировым именем Наум Шарослободский играл Гайдна. У Ньюмы все также висела на носу капелька, хотя грудь его, шея и руки были осыпаны хрустким снегом крахмала, а комберленовский фрак облил щедрое тело черным дождем. Балерина, носившая название "народной", танцевала ему "Умиряющего лебедя". У балерины были глаза, как две огромные слезы.

Человек, повешенный мною, лежал в гробу, как фараон. Я был удивлен, почему не снабдили его моссельпромовским печеньем "Сафо" и несколькими баночками пиццестровских консервов.

Около разлагающегося трупа представители общественных организаций, друзья и возлюбленные несли почетный караул.

Примерно с пятого года революции, москвичи заобожали покойников. Как только умирал поэт, стихов которого они никогда не читали, глава треста или актриса, сошедшая со сцены четверть века тому назад, граждане сломя голову бежали "смотреть".

На мертвецов образовывались очереди, как на подсолнечное масло или на яйца. В очередях ругались, вспоминали старое время, заводили знакомства, обсуждали политические новости. Словом, мертвецкие хвосты ничем не отличались от кооперативных. Некоторые приходили в очередь с бутербродами, некоторые с книгами, некоторые со складными стульчиками, а рукодельницы с вязаньем или вышиваньем.

Люди, имеющие склонность поблистать, положительно не пропускали ни одного сколько-нибудь видного покойника. Премьеры или вернисажи не могли конкурировать с похоронами.

Я сам недосужно ответил на приглашение, далеко не лишнее заманчивости:

– Не могу. Не могу. Днем я на Ермоловой, а вечером в Большом на Борисе.

Великую Ермолову хоронили еще пышнее, чем моего друга.

Когда шофер в кожаных латах и с опущенным кожаным забралом остановил госсиндикатовскую машину с Сашей Фрабером около общественного здания в пурпуре и крепе, очередь на моего друга уже завершила за угол второго квартала.

Секретарь Фрабера – юноша с портфелем из крокодиловой кожи – шепнул на ухо своему патрону:

– Александр Августович, не беспокойтесь, распорядитель погребения мой закадычный приятель.

Но Саша Фрабер, сложив губы недовольным бантиком, сказал:

– Товарищ Лошадев, я принципиально против протекции.

И встал в хвост как раз в тот момент, когда взбалмошный гражданин в буланой поддевке (под цвет бороды) кричал некой флюсатой гражданке с соломенной кошелкой:

– Я у вас, мадам, в ноздре не ковыряю, так и вы в мою не лезьте.

Гражданка, по-видимому, отнеслась к гражданину с неуместным поучительством.

А немного поодаль женщина, похожая на ватку в больном ухе, говорила старухе, зловешей, как медный пятак на глазу покойника:

– А вы слышали, маман, о последнем фейерверке Елены Павловны, сошлась, figurez-vous, с приказчиком из Рабкоопа.

– Приспособьтесь, гражданин из автомобиля, приспособьтесь. За этой девушкой приспособьтесь.

Клетчатая немка с трубы фыркнула:

– Как же-с! Девушка: на левое ухо.

Саша, глотая слезу, встал в хвост.

6.

Перед тем, как заколотить гроб с Лидией Владимировной и перенести его на артиллерийскую двуколку (полковник увозил Лидию Владимировну), он для чего-то положил около небьющегося сердца своей жены крохотный портретик девочки, по всей вероятности, с серой косичкой.

За несколько минут до отъезда, протирая запотевшие стекла очков (запотевшие глаза нельзя было протереть), он попросил:

– Познакомьте меня с этим человеком.

Я пошел к моему другу.

– Он хочет тебя видеть.

– Пусть отправляется ко всем собакам.

Не глядя в глаза, я пробормотал:

– А по-моему, тебе бы следовало пожать ему руку.

– Не имею ни малейшего желанья.

Мне пришлось соврать артиллерийскому полковнику, что мой друг болен.

Полковник, смущенно подергав крестик Белого Георгия, почти виновато проронил:

– Если он не хочет проститься с Лидочкой при мне, я выйду.

Чтобы не огорчать чудака, я сказал:

– Пожалуйста.

7.

Ночью Лео играл в покер. Играл, как всегда, – осторожно, расчетливо, без оплошалостей. Он редко проигрывал. Его длинные, не в меру гибкие пальцы, наводили на скверные мысли. Но он, разумеется, не передергивал.

Хотя, на его месте, я бы не садился за карточный стол в этом френче из дорогого английского коверкота, в этих мягких сапогах из французского шевро, обтягивающих ногу, как бальная перчатка. И френч и сапоги были сделаны на "покерные деньги".

Лео, не вынимая из зубов папиросы, промямлил:

— Ваши десять рублей и еще пятнадцать.

У Петра Ефимовича завлажали брови:

— Эх пал дуб в море, море плачет, — четвертый разочек до покупочки повышаете, Леонид Эдуардович. Право же-с играть мне с вами, маэстро, что комару на зимнего Николу петь: кафтанчик короток!

И Петр Ефимович расстегнул ремень на завлажневшей рубахе:

— А ведь у Леонида Эдуардовича, ей-ей, на руках флешро-ля. Говорю, в игре у него крылья орловы, а хобота слоновы. Беда!

Подрядчик, переодетый, как и все мы, в военного чиновника, до войны сражался с супружницей в свои козыри или, на худой конец, с десятниками в двадцать одно. Сейчас он, по всей вероятности, с нежностью вспоминал эти игры, не воспрещающие таинственным: "блеф пар жест" выпенивать из себя вулканические страсти.

Думается, что Петр Ефимович и играл-то в покер из-за таинственных иноземных слов, которые произносил он с полным наслаждением, нимало не подозревая, что они после процеживания сквозь его гуляйполевские усы, становились самыми что ни на есть оханскими.

— Значит, сервнете, Леонид Эдуардович?

Мой друг улыбался, позвякивал шпорой, шелестел картой. А я думал об артиллерийском полковнике, похожем на сельского учителя. В эту ночь чудак, наверное, не мог бы играть в покер. Он, вообще, мерещится мне, недоумевал, как в эту ночь лошади могут жевать овес, солдаты ловить вшей, луна золотить землю, — немцы ненавидеть русских, орудия икать, сестры милосердия давать офицерам.

В эту ночь!

8.

Вторым заядлым покеристом и постоянным партнером моего друга был Алеша Тонкошеев, молодой актер Художественного театра. Алеша был человек благоразумный, предусмотрительный и потому несчастный. Бывало не успеет еще Петр Ефимович раздать по три карты, а уж Алеша обымает будущее грустным взглядом:

— У меня сейчас, вот увидите, стрит тузовый подбреется, а у Лео, голову прозакладую, тройка и двойка. Горько плакали мои фишки.

И Алешины фишки, действительно, горько плачут, под восторженный всплеск Петра Ефимовича:

— Матадор вы, Леонид Эдуардович, арены Мадридской!

И не только в покере обымал Алеша Тонкошеев будущее взглядом своих добрых белокурых глаз. Бывало сидим на зеленой скамейке перед фанерным домиком: вечер лучше и не придумаешь: заря бражничает, верещит тальянка, ветер пришептывает непоодаль в червонеющих березах. Будто мы не в тылу фронта, а в каком привольном селе размашистой черноземной губернии. Вкруг скамейки пораскидались — сердечками, дунками, бараночками цветущие клумбы.

Я копошусь кортиком в настурциях и резеде. Людей мы не ружим и потому не жалованы шашкой. Рот у меня, сам чув-

ствую, до ушей. Петр Ефимович сказал бы: "Хоть завязочки пришей".

Алеша страдальчески ломает брови:

— Ну, чему радуешься, чему?

— Да вот резеда распустилась, пахнет чудесно.

— Распустилась! Пахнет! А через неделю что? Гнильно, может быть, пахнуть будет?

— По всей вероятности.

— Вот и посуди сам, чему же тут радоваться? Цветочки неделю живут, а потом вянут, осыпаются, гниют, а ты от этого в телячий восторг приходишь. Удивительные люди!

Алеша отрешенно похрустывает пальцами. А через минуту:

— Чего дышишь, чего?

— Хорошо. Прохладно.

— Прохладно. А завтра что будет? Какой день?

— Должно быть, жара. Закат кровавой.

Он обрадовался:

— Ага, жара! А ты наслаждаешься, сияешь?

Я беру Алешу за руки:

— Тонкошеечка дорогой, хочешь быть в жизни немножечко посчастливей?

— Дурацких советов и слушать не желаю.

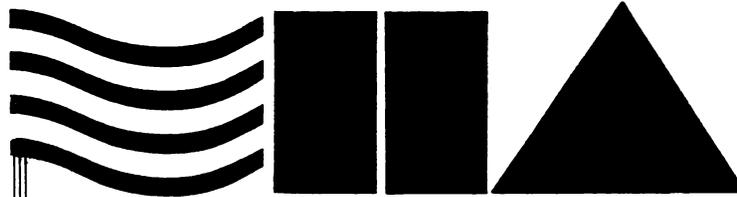
— Я только хочу сказать, Алеша, что всегда лучше думать о сегодняшней прохладе, чем о завтрашней жаре. Вот и все.

Он сердито поднимается со скамейки:

— Скотская философия.

И уходит, не взглянув на меня.

(Окончание следует)



Подробнее ознакомиться
с новым "НА"
можно заполнив купон:

**ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»**

ПО АДРЕСУ (по-английски печатными буквами):

ИМЯ И ФАМИЛИЯ _____

АДРЕС _____

продление подписки

Цена подписки на год в США — \$ 40

на шесть месяцев — \$ 26, на три месяца — \$ 14

в Канаде — \$ 45 (американских)

в других странах — \$ 65

Авиапочтой за океан — \$ 145

Заполните и пошлите бланк с чеком или мани-ордером по адресу:

The New American
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
80 Grand Str.,
Jersey City, N.J. 07302



Вячеслав Сысоев

С магнитофонной пленки*

Я прошу тех, у кого будет эта пленка, в случае моего ареста сделать ее достоянием гласности. Начну я с заявления.

ЗАЯВЛЕНИЕ

16 ноября 1978 года у меня было устроено сразу два обыска под надуманными предлогами. Вскоре после этого прокуратура Черемушкинского района г. Москвы возбудила против меня уголовное дело по ст. 228 УК РСФСР (распространение порнографии). Весной 1979 года, после того, как репрессии против меня усилились, я вынужден был уйти из дома, чтобы продолжать свободно заниматься творчеством. С тех пор прошло более четырех лет, но улучшений в моем положении не произошло. Дело мое остается открытым, и в любой момент я могу быть арестован¹. За эти годы я успел сделать немало, и всегда примером для меня служил художник Оскар Рабин.

Начиная с первых квартирных выставок неофициальных художников, в которых я участвовал, и во всех последующих выставках, я прямо говорил то, что думал. Видимо, это и послужило причиной того, что власти обратили на меня внимание и преследовали меня фактически с того момента, когда я познакомился с Рабиным.

Всем, помнящим меня и беспокоящимся о моей дальнейшей судьбе, живущим в СССР или вынужденным уехать, я говорю, знайте, что я честный художник и делаю все, что могу, для свободного русского искусства.

Январь 1983 г.

Вячеслав Сысоев

Теперь я хочу вспомнить о том, что было, как я стал таким, почему все это произошло. Я вспоминаю, как познакомился с Оскаром Рабиным. Это произошло в самом конце 1974 года, после того, как в Москве начались неофициальные квартирные выставки. Я с большим трудом узнал адрес Оскара — у него проходила одна из этих квартирных выставок — и с какими-то своими знакомыми пришел туда. Я ходил по его квартире, завешанной картинами многих художников — и его несколько работ там тоже висело — и смотрел. Для меня это было очень ново тогда. Я до этого времени никогда не бывал на таких выставках и, честно говоря, вообще даже не знал о существовании таких художников. И в какой-то момент я почувствовал на себе чей-то взгляд, очень пристальный, и инстинктивно обернулся и сквозь толпу, сквозь... — там было очень много народу — заметил на себе чей-то очень такой пристальный и цепкий взгляд. На меня смотрел человек, абсолютно лысый, в очках, с очень запоминающимся лицом. Это и был Оскар Рабин. Потом, через очень короткое время, я снова пришел к нему. На этот раз уже с двумя работами. Я помню, что это было днем, в квартире никого не было. И я еще помню, что на стене висел портрет Эльской² в черных перчатках. Эта картина, по моему, Оскара. Когда я показал свои работы Оскару, он сказал: "Ты знаешь, они мне нравятся, оставь их у меня". Он повесил эти работы на стенку. Это был первый шаг, который я сделал.

А вслед за этим я познакомился с разными художниками, и стал принимать участие в неофициальных квар-

тирных выставках. И это все происходило параллельно с моей работой. Я работал во Всесоюзном производственно-художественном комбинате макетчиком. К осени 1975 года у художников разгорелся аппетит, и они стали требовать от властей официального разрешения устроить выставку, грозили, что в противном случае опять пойдут на Беляевское поле, как это было год назад³ — все знают, что это закончилось погромом. В результате долгих переговоров, взаимных обвинений, склоки между художниками, нам дали официальное разрешение на проведение такой выставки в Доме культуры ВДНХ. И за несколько дней до открытия выставки я отправил туда свои работы. В день открытия⁴, в 12 часов, вместе с другими художниками я вошел в залы. И когда мы вошли, то увидели, что половина работ, которые должны были висеть, сняты, и среди снятых работ, конечно, был мой любимый председатель Мао⁵. После этого был клич брошен кем-то: "Срывай все работы", и художники, обиженные и возмущенные тем, что их опять обманули, стали срывать работы, а люди, курирующие выставку, и работники милиции, которые должны были следить за порядком, настолько растерялись, что не знали, что делать. И это продолжалось не менее часа. Публика уже была в залах, там было много иностранцев, были иностранные корреспонденты. Потом нас всех выгнали на улицу, и мы,

3 15.9.74; подробно об этом см. сб. "Искусство под бульдозером. Синяя книга" (сост. Александр Глезер), Лондон, 1977.

4 21.9.75; выставка продолжалась до 30.9 (подробно о ней см. ст. Евгения Барабанова "Сентябрьская выставка московских художников 1975 г." в журнале "Вестник РСХД", 1975 г., №116.

5 Описание см. в книге В. Сысоева "Ходите тихо, говорите тихо", изд. "Третья волна", Париж-Нью-Йорк, 1983.

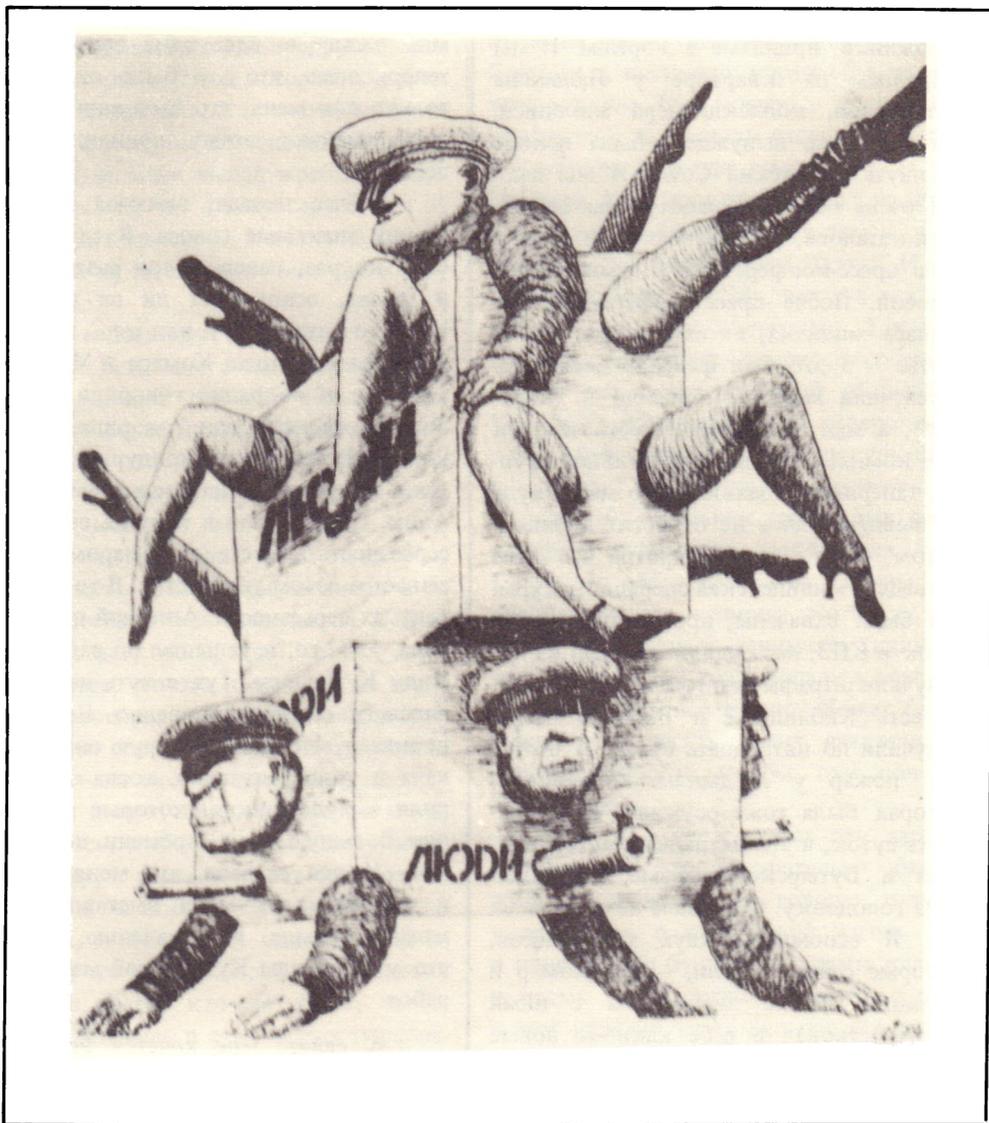
* Перепечатка с магнитофонной записи.

1 Арестован 8.2.83. 12.5.83 осужден в Москве на 2 года ИТК общего режима.

2 Художница Надежда Эльская скончалась 30.10.78 (некролог см. в журнале "Третья волна", 1979, №5).

художники, шесть часов стояли, в то время как наши лидеры — Рабин, Одноралов и другие — вели переговоры с властями. Вечером мы узнали, что был достигнут компромисс: часть наших работ согласились повесить снова. Когда я пришел домой и включил радио, то услышал об этом событии так, как оно было изложено уже иностранными корреспондентами. Меня, честно говоря, конечно, очень удивило то, что во всех передачах подчеркивалось, что среди запрещенных работ был карикатурный портрет Мао. А потом, через несколько дней, когда на работе узнали о том, кто делал председателя Мао, произошел скандал. На меня кричали, меня оскорбляли, а потом меня просто выгнали с работы и сделали это так, что я должен был уйти по собственному желанию. Вот это, наверно, и был основной момент, когда я понял, что становлюсь неофициальным художником.

После этой выставки были еще какие-то выставки, квартирные. А потом нас всех приняли в Горком графики, почти всех художников, которые принимали участие вот в этих неофициальных выставках, приняли в Горком графики города Москвы. Но Оскара Рабина, который был членом этого Горкома задолго до того, как мы туда попали, а потом он был исключен оттуда — его в Горком не приняли. И многие художники радовались, что у них теперь появилась такая возможность выставлять свои работы, совершенно не думая о том, каким образом и как это все произошло. Рабин им пытался объяснить, он говорил: "Что вы радуетесь? Если вы хотите выставок, то они будут, но вы сами увидите, какие это выставки". Художники, действительно, очень скоро увидели, что эти выставки являются, ну, обычными, официальными выставками, и многие художники поняли, что для того, чтобы принимать участие в этих выставках надо быть самоцензором. И многие стали подлаживаться в своих работах для того, чтобы их работы висели. И рассуждали так: "А зачем я буду делать такую работу, которую не повесят?", и старались соответственно делать такие вещи, которые можно было увидеть потом на стенах. Впрочем, в лучшем положении были художники, которые занимались вопросами чисто живописными или вопросами пластики. У них была более широкая возможность демонстрировать свои работы, и больше всего на таких выставках, в ранний период было абстрактных картин. Как ни парадоксально, но то, с чего начинался



зажим, когда критиковали абстракционистов, модернистов — это происходило во времена Хрущева — теперь разрешили. Выяснилось, что абстракция — это наиболее безобидная форма современного творчества, и что как раз абстрактное искусство наименее опасно. Ну, а художники, которые пытались делать какие-то социальные вещи, всегда сталкивались со множеством препятствий; каждый раз им приходилось бороться за свои работы. Потом в Горкоме начали образовываться разные группы художников. Образовалась, например, "Двадцатка". Туда входили художники самых разных направлений. Это талантливые художники большей частью, художники оригинальные. И когда была подготовлена их выставка, то в ночь перед открытием⁶ произошло такое странное событие: часть работ, уже повешенных, пропа-

ла. Выяснилось, конечно, потом, что это не музейные воры, ценители современного искусства, сделали, а сделали это другие люди. Эти картины потом были найдены в запаснике. А сделали это два известных художника, два известных на Западе художника-нонконформиста, так называемых. Я не хочу называть их фамилии. Они ночью открыли помещение и вынесли те работы, которые они считали недостойными висеть.

А потом был 76-й год, когда я ездил хоронить Рухина в Ленинград. Потом в 79-м году, в январе, — это уже после того как на меня обрушилась вся эта лавина и возбуждено было уголовное дело, — многие художники опомнились и решили как-то показать свое единство, и было решено провести так называемый "Фестиваль искусств"⁷. И к московским художникам присоединилось очень много ленинградцев, потому что ленинградцы лишены даже такой возможности

⁶ 18.2.75; выставка "Двадцатки" состоялась в Москве в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ 19.2.75 (см., например, Е. Барабанов, указ. соч.; ст. П. Осноса в газ. "Геральд Трибюн", 21.2.75, Рейтер, 19, 27.2.75).

⁷ Фестиваль планировалось провести 28-29.4.79 одновременно в Москве, Ленинграде и Париже (Хр. 53:163).

выставляться, какую имеют московские художники, принятые в Горком. И мы собрались на квартире у Людмилы Кузнецовой, коллекционера живописи, которая тоже вынуждена была вскоре покинуть Советский Союз. И мы вели там очень большую работу: мы составляли каталоги, фотографировали. Потом была пресс-конференция Людмилы Кузнецовой. После пресс-конференции ворвалась милиция, ее схватили в одном платье — а это был февраль месяц, кажется, или март⁸ — бросили в "воронку", а мы, оставшиеся шесть человек в ее комнате, члены Инициативной группы, заперлись и заявили, что мы никуда не выйдем, пока не отпустят хозяйку. Потом, через три дня, против нас была проведена милицейская операция, штурм. Мы были схвачены, просидели полтора суток в КПЗ, нас судили: четверо из нас получили штрафы, я в том числе⁹, а двое, то есть Киблицкий и Валерий Аккс, получили по пятнадцать суток. А потом был пожар у Людмилы Кузнецовой, которая была тоже осуждена на пятнадцать суток, и эти пятнадцать суток провела в Бутырской тюрьме, где объявила голодовку. Фестиваль не состоялся.

Я вспоминаю двух художников, которые сейчас уехали, — это Комар и Меламид. После знакомства с ними я почувствовал в себе какие-то новые возможности — так горячо они восприняли то, что я делаю. И я почувствовал с их стороны какое-то уважение к себе. Потом я присутствовал на различных хэппенингах, которые они устраивали. Они были неистощимы на всякие выдумки. Я вспоминаю о том, как они жарили котлеты из газет, центральных. Они проворачивали их через мясорубку, и Алик со своей дьявольской, мифистической улыбкой, жарил потом это месиво на сковородке в кипящем масле, придав этому всему видимость котлеты, после чего эта продукция была запечатана в полиэтиленовые пакеты и отправлена в Соединенные Штаты. И что самое интересное — по прибытии в Соединенные Штаты эти котлеты покраснели, по неизвестным причинам. Потом, я помню, что однажды, когда, ну, была какая-то вечеринка, и я там был и стоял очень трезвый и какой-то хмурый, неразговорчивый, ко мне подошел Алик — а он был немного выпивший — и, глядя на меня опять своим мифистическим

сумасшедшим взглядом, тихо сказал мне: "Сысоев, надо жить весело". И я теперь знаю, что это было сказано не только для меня, что сами они в жизни тоже следуют этому принципу: жить весело.

Сейчас иногда, включая радио, я слышу знакомые голоса. Я слышал несколько раз, наверно, три раза, Рабина, и думал, вспоминает ли он о нас, о тех, кто остался тут, или же — весь там. А потом я слышал Комара и Меламида, которые и по радио говорили примерно так же, как они говорили в своей квартире, немножко придуриваясь. И я даже представил, как, сидя на студии, Алик, гримасничая и пытаюсь соблюдать серьезность, вместе с Комаром рассказывает о своем творчестве. Я-то уж знаю цену их серьезности. А весной прошлого года, 1982-го, я услышал по радио Людмилу Кузнецову. Тут я чуть не прослезился, я скажу откровенно. Людка говорила о выставке, которую она устраивала в университете, и, когда она говорила о художниках, которые остались, она большую часть времени посвятила мне. И она сказала, что меня помнят и что пытаются меня выставлять как можно больше. К сожалению, я знаю, что у Людмилы Кузнецовой мало моих работ.

А сейчас мне хочется вспомнить о "Воскресеньях" так называемых, которые проводились в Подмосковье. Это было в те годы, когда я только-только начинал пробиваться в художники, в неофициальные. Меня познакомили как-то — я не помню кто, не помню где — познакомили меня с людьми, которые устраивали эти "Воскресенья". А устраивали эти "Воскресенья" бывшие члены Клуба самодеятельной песни. Бывшие, потому что они отошли от Клуба самодеятельной песни и считали, что его уровень их не удовлетворяет и что там есть какие-то ограничения. Они стали собираться по воскресеньям в подмосковных лесах, летом, для того, чтобы иметь возможность послушать друг друга, попеть, почитать стихи и рассказы, что-то рассказать собравшимся.

И когда меня пригласили первый раз, и я туда приехал со своей знакомой, то меня поразил общий вид этого зрелища, потому что это была какая-то очень большая поляна, на которой стояли палатки, были разожжены костры, была очень хорошая погода. В середине поляны были воткнуты в землю палки, а к ним были прикреплены микрофоны, и внизу стояли портативные маг-

нитофоны, и толпа, которая сидела вокруг этих микрофонов, ну, состояла примерно из двухсот человек, не меньше, если не больше. И к микрофону подошел молодой человек, очень милый и интеллигентный и с очень приятным и располагающим лицом. Это был Валерий Абрамкин. Он сказал, что очередное "Воскресенье" открывается. Потом начали читать стихи, петь песни. Уровень, конечно, был самый разный. Там были сильные исполнители, были посредственные, и стихи тоже были всякие. Но было интересно. Я впервые увидел, что люди свободно говорят и свободно поют. И люди были раскованы. И мне это понравилось, и я стал ездить и на другие "Воскресенья". И было довольно много разных исполнителей. И пелись довольно интересные песни. И однажды, когда я рассказал своим знакомым иностранцам об этом, то почувствовал с их стороны желание увидеть все это. Я им сказал: "Вы понимаете, что это неофициальное мероприятие, выражаясь официально?" Они говорят: "Да, да, мы понимаем". И они решили поехать в следующее воскресенье, и поехали.

Я помню, что они были ужасно одеты: в какие-то черные плащи. Я так понимаю, что это было сделано для конспирации, чтобы те, кто за ними могут следить, не узнали, что они иностранцы. И вот они пришли, расположились среди собравшихся, и только-только началось это "Воскресенье", как вдруг из леса появился милиционер с красной палкой в руке, а за ним следом из-за деревьев стали выходить дружинники с повязками. А после этого милиционер подошел к микрофону и сказал: "Кто здесь старший?", на что Валерий Абрамкин ответил: "Здесь старших нет, здесь все равные". А после этого милиционер, безошибочно выбрав из толпы замаскированных иностранцев, попросил их отойти в сторону и там попросил у них документы. Они предъявили документы. Он им заявил, что они нарушили территориальную зону какую-то, отведенную для них. Это, по-моему, радиус от центра Москвы 30 км, эта зона, то есть то место, где могут иностранцы бывать без разрешения. Видимо, это "Воскресенье" на этот раз проводилось за чертой тридцати километров. Иностранцы покинули это "сборище", как было сказано работником милиции. А на следующий раз явились уже другие иностранцы. Это были немцы, телевидение ФРГ. Они приехали на оранжевом "Фольксвагене" — большом вагоне, с аппаратурой. И этот автобус застрял по пути

⁸ Точнее: 28.3.79 (Хр. 53:163, ЮПИ, 31.3.79).

⁹ Другие: Виталий Длугий, Владислав Провоторов и Вячеслав Савельев.

к месту выступления, и они его бросили там, а сами пошли вместе с остальными пешком. Потом они записывали на магнитофон и снимали на киноплёнку выступающих. И на какое-то время я потерял их из виду, потому что я слушал песни, которые в этот момент исполнялись. Вдруг раздался какой-то шум и крики, все пошли выяснять, в чем дело. Мы увидели такую картину: стоят немецкие корреспонденты, довольно испуганные, а вокруг них беснуется толпа молодых людей и девушек. Выяснилось, что как раз именно в этот день на это же самое место приехали члены официального Клуба самодеятельной песни. Увидев, что их снимают, они вскочили и стали кричать, что, значит, кто-то пустил сюда иностранцев, что многие из них работают на секретной работе и не хотят, чтобы какие-то там иностранные шпионы делали такие кадры. И стали буквально вырывать аппараты — киноаппараты и магнитофоны — из рук немцев и кричали: "Отдайте пленку, иначе будет хуже!" Немцы посоветовались и киноплёнку отдали, после чего молодые люди смолкли, смотали ее в клубок и бросили в костер. Плёнка эта горела очень плохо, но все-таки сгорела. А потом, конечно, произошло то, что и должно было произойти. Эта плёнка оказалась цела и, как я знаю, ее показывали в ФРГ, по-моему, по телевидению.

А на следующее воскресенье и во все следующие воскресенья народу стало приезжать меньше, и каждый раз Абрамкин, когда начинал "Воскресенье" говорил, что сегодня не будет того-то и того-то. Не будет потому, что один позвонил, предположим, и сказал, что он заболел, а другой позвонил и сказал прямо, что его вызывали на работе и сказали, что, если он будет ездить на эти "Воскресенья", то его уволят и будут неприятности еще большие. И постепенно число тех, кто выступал, и число тех, кто приезжал слушать, уменьшалось. И собираться стало примерно человек 50-60, и бывало довольно интересно.

А затем Абрамкина арестовали, потому что он был одним из редакторов неподцензурного журнала "Поиски". Потом был суд, такой же, как и все подобные суды, и по статье 190-1 его приговорили к трем годам. И сейчас я еще вспомнил о его жене Кате и об их сыне Алике. У меня тоже есть сын, которого я не видел с трехлетнего возраста. Какой он сейчас, я не знаю. Когда он вырастет, если будет такая возможность, я расскажу ему о себе, и он сам скажет свое веское слово, что он думал и думает

о своем отце. А если это я не сделаю, то пусть это сделает кто-то другой, кто знает обо мне и о той истории, которая со мной произошла. А причина, по которой это все случилось, она и ясна, и не ясна. Вот на меня выпал жребий, я должен нести все, что я несу сейчас. И я от этого не отказываюсь. Но вполне может быть, что на моем месте мог быть кто-то другой.

Да, собственно, и не только на моем месте. Есть много людей, таких же, которые делают гораздо больше, чем я, гораздо более нужные вещи, наверно. А я делаю то, что могу. Я бы очень хотел, чтобы мой сын, если он вырастет и увидит когда-то этих болванов, которых рисовал его папа, чтобы он сказал: "Папа, какие были странные люди в то время, когда я был маленьким. Сейчас же таких нет, это правда?" Смогу ли я ему сказать, что это правда? Я не знаю. Если правильна латинская поговорка о том, что жизнь коротка, а искусство вечно, и если можно приравнять то, что я делаю, к искусству, то мне бы очень не хотелось, чтобы эти персонажи и через десять лет, и через двадцать были реальны, как и сегодня. К сожалению, это не от меня, я повторяю, одного зависит, а зависит это от всех людей, понимающих ситуацию, всех, кто не хочет, чтобы мы превратились в этих самых персонажей. Но об этом гораздо лучше сказали другие люди, при помощи слова, при помощи песни.

Пусть меня называют идеалистом, но я верю, что будут большие изменения. Ведь ничто даром не проходит: бульдозеры, которые давили картины; художники, которые скопом кинулись в Горком графики, забыв о том, что во всех других городах Советского Союза все другие художники, которые не могут или не хотят быть соцреалистами, находятся в бесправном положении; и преследования отдельных художников; и даже странная смерть Рухина и загадочная смерть Эльской; ну, и в конце концов, просто картина, которая висит на стене, когда можно подойти и посмотреть. Ведь есть такие слова в песне: "Висит картина на стене, и этого достаточно". Наверно, все-таки просто так ничего не бывает, и не было бы сейчас возможности выставлять картины, если бы днем, в сентябре 1974 года бульдозеристы на заправленных бульдозерах, под милицейским руководством и руководством граждан в штатском, не начали давить картины. Кстати, был момент — я же не был тогда на выставке, мне потом рассказывали — был момент, когда

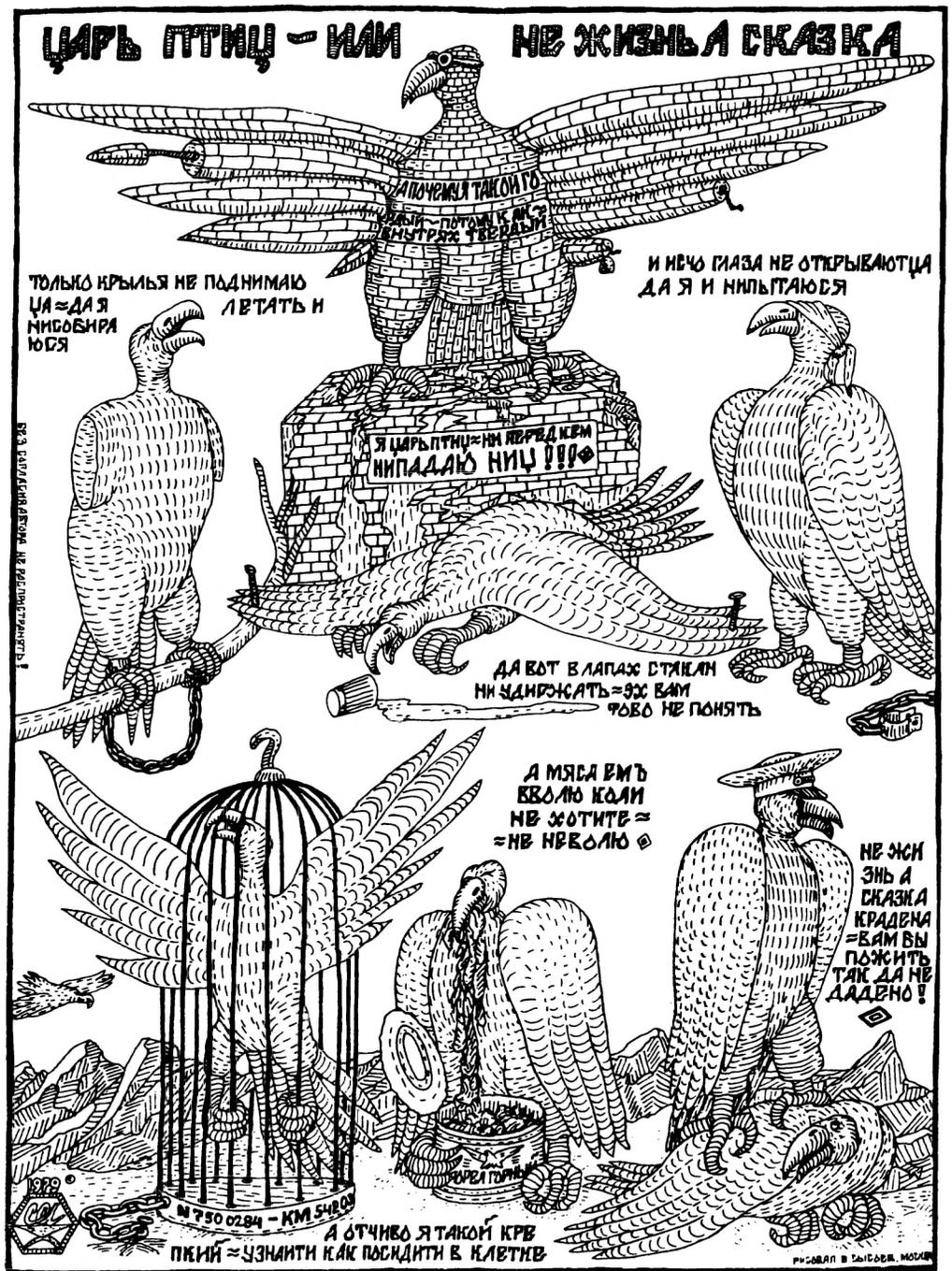
художники дрогнули. Да и как тут было не дрогнуть? Люди вышли с мольбертами и поставили картины, а на них прет машина. Был момент — художники дрогнули и даже стали отступать. А там на пустыре валяется груда труб. И вот Надежда Эльская, которая была на поле, она вдруг вскочила на эти трубы и закричала: "Мужики, куда? Назад!" И мужики остановились. Ну, вот это как раз и есть — этого достаточно. Так что, все, что происходит, наверно, закономерно. И начальник, который обещает в Горкоме, какие-то сулит невероятные вещи художникам за их послушание, и который потом проворовывается; и следующий начальник, женского пола, которого художники ласково называют ГБ — это аббревиатура от Галины Борисовны, и эта женщина, которая, как теперь я слышал, занимаясь какими-то махинациями, тоже попала в опалу — видимо, и это все нужно. Может быть, нужно еще десять таких начальников для художников, чтобы они поняли, что это такое.

Вы, те, кто слушает эту запись, вы заметили, что я старательно обхожу вопросы политики, а говорю только, в основном, о культурной жизни. Это и понятно. Не буду же я тратить пленку и время на то, чтобы говорить о том, о чем каждый вечер вещают все радиостанции, на всех диапазонах коротких, средних и длинных волн. Если жизнь коротка, а искусство вечно, то надо стараться делать искусство, да?

А сейчас я хочу обратиться к художникам. Мне кажется, что может наступить такое время, когда удастся собрать много разных людей: художников, которых я знаю и которых не знаю, и других людей, которым интересно будет посмотреть на то, что мы делаем. И когда эти люди соберутся, и может быть, будет звучать вот эта запись, то... Я в жизни был лишен, в предыдущей своей жизни был лишен возможности обратиться с такой энциклопедией к ним. Но вот, видимо, наступил момент, когда я теперь могу это сделать свободно, не боясь, что меня освищут или будут перебивать какими-то репликами. И теперь я хочу обратиться ко всем художникам, которые пришли и видят то, что висит на стенах или лежит на столе. Я хотел бы сказать, что мы потеряли очень много, когда кинулись за какой-то приманкой, думая, что это как раз не приманка, а есть наша еда, наш хлеб насущный. А оказалось, что это не так, оказалось, что это только приманка, для того, чтобы нас всех захлопнули.

И если те, кто меня сейчас слушают, согласны со мной, пусть они подумают, как надо сделать и что надо сделать, чтоб мы чувствовали себя свободными и чтобы мы делали те работы, которые будут до конца честными.

Как сделать так, чтоб мы могли снова выставаться, совершенно свободно? Я помню только один момент, когда была полная свобода. Это даже не квартирные выставки: это момент после того, когда художники, участвующие в выставке в Доме культуры, были выгнаны на улицу и шесть часов стояли, добиваясь от властей разрешения на то, чтобы снятые незаконно работы были повешены вновь. Это был момент единства. А доказательство этому очень простое. Я помню, что, после того, как отчасти договорились, и мы стали расходиться, — те, кто был тогда на ВДНХ, вы помните, как это было? — нас окружили огромным милицейским кордоном и выперли за территорию ВДНХ. Это значит, что нас боялись, потому что мы были вместе. А потом, когда мы все разбились на группки и когда каждый старался выставить свои работы и устраивал скандалы и думал, что, вот, если его только работу повесят, а других работы не повесят, то от этого он что-то выиграет — вот тогда-то мы уже и проиграли. Для того, чтобы быть свободным художником, нужно иметь внутри себя тот самый стержень, на который нанизывается все самое хорошее, что в тебе есть. И все это должно сгруппироваться в тебе, внутри, комом, который разбить невозможно. Если этого нет, тогда ничего не будет, тогда все мои слова — это совершенно пустая трата времени. Я надеюсь, что хотя бы часть художников, тех, кого я знаю, услышат и подумают, что можно сделать. Я о себе могу сказать только одно: смотрите то, что я сделал. Я знаю, что многие не считают меня художником, говорят так: "Сысоев! Да он же не художник, он — карикатурист!" Ну, в таком случае, для тех людей, кто так говорит, я хочу сказать: я и не претендую на звание художника, ведь, в конце концов, я освобождаю для вас место, пожалуйста, считайтесь художниками. Можете повесить вместо картины, там, где стояла подпись "В. Сысоев", свою работу, но если вы не хотите этого сделать, а хотите оставаться честными, то подумайте, как это сделать. Это все, что я хотел сказать.



Демонстрация в защиту Вячеслава Сысоева у здания советского посольства в Париже. 24.3.84.



10 лет журналу «КОНТИНЕНТ»

Интервью с главным редактором Владимиром Максимовым

В. — Скажи, Володя, как возникла идея создания журнала и когда? Я слышал, что еще чуть ли не в Москве.

О. — Ну, идея, прямо скажем, не очень богатая. В тоталитарной стране, в нонконформистской культуре всегда возникает идея какой-нибудь альтернативы официозу. В литературных кругах Москвы после того, как возникли такие явления, как, предположим, Солженицын, после появления целого десятка, если не больше, имен, которые выявились в шестидесятые-семидесятые годы, естественно, родилась мысль о создании альтернативного журнала. И, конечно, мысль эта особенно окрепла после закрытия последней отдушины, которая была возможна в советских условиях, то есть "Нового мира". И как ни парадоксально на первый взгляд, с идеей создания такого журнала первым пришел ко мне не писатель, а деятель демократического движения Владимир Буковский. Он предложил: вы собираете определенный, как это у нас говорят, авторский коллектив, а я беру на себя всю техническую сторону дела, то есть печать и распространение как по стране, так и на Западе. Но, к сожалению, вскоре, буквально через три-четыре месяца после нашего разговора, Буковский был арестован. Дело застопорилось, хотя к тому времени все, начиная с Солженицына, согласились участвовать в таком издании. А вскоре, тоже примерно через три-четыре месяца, Солженицын был выслан, в день его высылки я получил разрешение на выезд и выехал буквально через три недели после Александра Исаевича.

Естественно, идея создания журнала не умерла, воскресла уже на новой почве, на Западе. К счастью, нашелся меценат, Аксель Шпрингер, известный западногерманский издатель, который взял на себя все расходы, связанные с изданием русского эмигрантского журнала. Кстати сказать, все желающие создавать журналы, а, как известно, издавать журнал хочет чуть ли не каждый эмигрант, должны помнить, что русское издание за рубежом, даже при самом успешном его развитии, будет, пусть хоть и очень немного, но убыточным. Слишком велики на Западе накладные расходы.

Так вот, я говорю, нашелся меценат, который взял на себя эти расходы,

и мы начали подготовку к изданию журнала. Первый номер вышел осенью 1974 года к международной книжной ярмарке во Франкфурте.

Название журналу дал Александр Солженицын, и это название, то есть "Континент", как-то сразу всех устроило, хотя до того шли яростные дискуссии и названия предлагались самые разные, вплоть до абсолютно чудовищных. Кстати, Солженицын в первых номерах журнала принял активное участие, но затем отошел от него по своим соображениям. Я не буду о них говорить, чтобы не начинать полемики по этому поводу.

Нам предрекали, честно говоря, конец: кто через два года, кто через три, потом через пять лет, а мы вот уже существуем десять, и если сравнить наше издание и его развитие с другими эмигрантскими журналами, как старыми, так и новыми, существуем, кажется, довольно успешно. Я думаю, что если не произойдут какие-то сверхординарные события, которые повлияют на стабильность журнала, то мы будем развиваться успешно и дальше, хоть и неизбежны при этом всякого рода издержки как в политическом плане, так и в человеческом и т.д. Но, честно говоря, если б даже сегодня "Континент" по каким-то причинам прекратил существование, должно согласиться с тем, что это уже часть истории русской литературы. Плох или хорош журнал, судить не мне. Какова литература — таков и журнал. Мы отражаем литературный процесс, и я не думаю, что нас можно упрекнуть в том, что мы пропустили что-нибудь значительное из того, что появлялось и происходило в русской нонконформистской литературе за последние десять лет. Может быть, одну, две, три вещи мы могли пропустить или не понять, не воспринять, но не думаю. Такого случая не помню. Если ты заглянешь в нашу авторскую картотеку, то легко убедишься, что практически у нас было опубликовано почти все, что можно назвать литературой из создавшегося в последнее десятилетие.

В. — Володя, ты говорил о неизбежных для русских изданий убытках. Но разве "Континент" не самоокупается?

О. — Нет, ни в коем случае. Русское издание "Континента" окупалось бы,



У входа в редакцию "Континента": Владимир Максимов, Александр Галич, Вадим Делоне
Париж, 1977 г.

если мы, как многие эмигрантские журналы, не платили бы гонораров, не платили бы зарплату своим сотрудникам, срезали бы часть расходов на внутри-редакционные нужды. Иными словами, если бы я взялся делать "Континент" один, не получая за это ничего, то можно было бы еле-еле сводить концы с концами. Ну, вот давай прикинем. Сейчас распространяется три с половиной-четыре тысячи экземпляров журнала. Возьмем нижний предел — три с половиной тысячи. Подписчикам журнал обходится в 10 немецких марок. В розничной продаже цена 12 марок. Берем высокую цифру — 12. Распространителю, как это принято на Западе, мы отдаем журнал за 50% его номинальной цены. Значит, чистого, так сказать, "дохода" от журнала — 6 марок. Помножь это на 3,5 тысячи. Получится 21 тысяча марок. Между тем, одни только типографские расходы составляют 30 тысяч марок. В общем, как я уже говорил, при максимальной экономии можно было бы, наверное, покрывать расходы, но ни на какие доходы рассчитывать не приходится. И с этим нужно смириться. Если эмиграция не будет в ближайшие годы расширяться, это станет просто закономерностью. Не

надо забывать, что, предположим, эмиграция первая, времен гражданской войны, явила на Запад не только писателей, поэтов, философов, но и читателей. И к тому же она была более многочисленной. А третья эмиграция в основе своей интеллектуальная. И, как ни печально это сознавать, это не читатели, а, главным образом писатели, художники, музыканты. Читателей почти нет.

В. — Ну, это здесь, в Париже, а в США, например, много эмигрантов, которые читают: инженеры, врачи, адвокаты...

О. — Все это так, но дело в том, что как раз эта эмиграция очень склонна к ассимиляции. И вот еще что: читатель в США, в частности, конечно, есть, но до него трудно добраться. Если бы эмиграция располагалась бы компактно — в одном, в двух местах... Но она так рассеяна. Вот ты говоришь об инженерах, врачах... Они ведь ищут работу по всей Америке. И чуть ли не в каждом маленьком городишке кто-то есть. Но добраться до них трудно, очень дорого обходится. Поэтому-то никому в новой эмиграции не удалось создать доходное издательское дело: газетное или журнальное.

В. — Даже то, что покупателями являются, скажем, американские и европейские университеты, не спасает положения?

О. — Не спасает, потому что очень много изданий, и у этих университетов есть выбор. Не все университеты покупают все. У них тоже есть бюджет. И до них тоже еще надо добраться, суметь охватить университетскую сеть и убедить, что им нужен именно этот журнал.

В. — Пожалуй, на долю никакого русского издания не выпадало столько шишек. Столько яростных выступлений против "Континента" было в эмигрантской среде, что их трудно даже сосчитать. Чем ты эту ярость объясняешь?

О. — Популярностью журнала. Только этим могу объяснить. Но ведь и ни у какого другого журнала никогда не было столько единомышленников, столько подписчиков, ни о каком журнале столько не писали в положительном плане. Так что одно уравновешивает другое. Так всегда было, есть и будет. Чем успешнее развивается какое-нибудь издание, тем больше у него как противников, так и сторонников. Тем более, что именно мы занимаем, стараемся занимать, позицию широкую, внепартийную. Хотя у каждого из нас в редакции есть свои убеждения, мы прежде всего оцениваем приходящие в журнал материалы по качеству. Ты, наверно, заметил, что у нас печатаются и левые, и правые, и какие

хотите. Главное — качество. А часто что бывает: люди, которые якобы участвовали и действительно участвовали в оппозиции в Советском Союзе, возмущаются, что "Континент" их не печатает. Я высоко ценю участников правозащитного движения, но борьба за что-то, к сожалению, не делает человека ни писателем, ни художником, ни композитором. Некоторые же из таких людей убеждены, что умеют и статьи писать, и прозу замечательную, и стихи прекрасные. И вот когда "Континент" отказывает кому-либо из этих людей из-за низкого качества материала, то человек тут же подводит под отказ идеологическую базу, начинает обвинять вас в нетерпимости, в агрессивности, в общем, во всех смертных грехах. А дело-то обстоит очень просто: то, что они мне присылают ниже всякой критики. И я печатать этого не буду, сколько бы они ни посылали открытых писем, сколько бы ни протестовали, ни возмущались бы. И от их протестов и обвинений судьба журнала не изменится. Так что зря стараются — только повышают популярность журнала.

Повторяю, все решает качество. Назови мне сколько-нибудь значительную вещь, мимо которой мы прошли, которую отказались бы печатать. Меня часто обвиняют за то, что я не опубликовал первый роман Саши Соколова. Но, простите, это уже чисто вкусовое. Мне эта проза чужда. Я считаю ее, может быть, и талантливой, но очень литературной и умозрительной. Что ж, возможно, я в этом случае был неправ. Но это единственный случай подобного рода за всю мою редакторскую практику. А в целом в "Континенте" печаталось все сколько-нибудь талантливое, печатались даже люди, которые считаются нашими заклятыми врагами. Все они у нас публиковались. Все, повторяю!

В. — Так что ты считаешь, что дело не в идеологических разногласиях, что за их видимостью скрывается нечто иное?

О. — Конечно. Идеологическую базу подводят уже после. А в основе конфликтов, как правило, лежат очень меркантильные и очень аморальные мотивы.

В. — "Континент" ведь выходит и на других языках. В частности, вот немецкое издание, кажется, более или менее регулярно.

О. — Ну, оно вообще выходит регулярно. Сейчас его тираж достиг шести тысяч. Люди, которые знают о том, как распространяются на Западе собственные толстые, как у нас говорится, журналы, понимают, что 6 тысяч для по-

добного журнала тираж фантастический. Лучшие французские журналы, такие, например, как "Esprit" распространяются в количестве двух тысяч экземпляров. А в "Esprit" печатается весь цвет французской мысли. Или вот один из лучших европейских журналов "Preuves". Он вообще прекратил существование. Его последнего номера было продано, по-моему, 49 (!) экземпляров. Здесь интеллектуалы читают, к сожалению, иллюстрированные журналы и из них черпают все свои знания об окружающем их мире. Ты, конечно, знаешь, что у нас даже интеллектуал-конформист постесняется в присутствии посторонних читать иллюстрированный журнал "Смена", "Огонек" или "Крокодил". Это считается дурным тоном. Где-нибудь в парикмахерской или бане он еще перелистает какой-нибудь журнал, но не на людях. А здесь все наоборот. Мало того, они еще упрекают нас за то, что статьи в наших журналах слишком велики, что их трудно и скучно читать! Мы изучали Америку не по книгам наших журналистов, даже лучших, а все-таки по американской литературе — по Фолкнеру, Хемингуэю, Сэлинджеру, Вулфу... Францию, скажем, по Камю, Селину, Мориаку, Сартру... А тут они изучают Россию по книгам своих журналистов, которые отработают в Москве год-два и пишут откровения о нашей стране, откровения, как правило, глупые, только дезинформирующие читателя. Серьезной же русской литературы западные интеллектуалы, за редким исключением, не читают. Пожалуйста, вот в Германии в любом магазине, в любом киоске на вокзале, в аэропорту — книги Гонзалеса. Говорят, что это псевдоним целой псевдолитературной фабрики, которая стряпает всякого рода детективы и прочую клюкву о России, и которая молниеносно раскупается. Книжки же русских писателей покупают единицы. Им тут не интересно читать подлинную информацию о России, а вот гонзалева макулатура их устраивает. Ну, хорошо, предположим, об этом говорить не стоит. Уровень не тот. Что ж, вот другой пример и уровень вполне достойный. Французский академик Анри Труайя пишет чудовищно бездарную клюкву о России и имеет тиражи в сто тысяч экземпляров. А лучшие книги наших писателей, таких, как Войнович, Ерофеев, Домбровский, в лучшем случае расходятся в десять, пятнадцать, ну, двадцать тысяч экземпляров. И это считается во Франции большим успехом.

Отсюда и отношение к журналу.

Я возвращаюсь к этой проблеме. Так вот, если в подобной ситуации немецкое издание "Континента" расходится в 6 тысячах экземпляров, то это огромный успех для журнала такого типа.

Более или менее регулярно выходит норвежское издание, сейчас возобновилось американское и продолжение его зависит от продажи четвертого номера. Правда, это не то чтобы журнал, а скорее альманах — годовая антология, собрание лучших материалов за год. Возродился после некоторого перерыва и итальянский "Континент". И хочу еще раз напомнить, что такие вот прекращения и возобновления издания объясняются отнюдь не недостатками журнала, не тем, что мы не можем дойти до западного читателя. Судьба их собственных журналов точно такая же. Все зависит от того, находят ли они дотации или нет. Вот прекрасный английский журнал "Survey". Он то исчезает, то возникает. А другой первоклассный английский журнал, "Encounter", журнал очень высокого уровня, который редактирует известный журналист Ласки, задыхается, потому что окупить себя не может.

В. — Все, что ты говоришь, свидетельствует о том, что здесь не только русских, но и своих авторов читают мало.

О. — Абсолютно верно. Это одно из моих разочарований на Западе. Средний западный интеллигент очень плохо знает собственную литературу. Как-то в Вашингтоне, во время "парти", столь принятых в Америке, профессор-гуманитарий спросил меня, какой американский писатель мне наиболее близок. Я ответил, что Томас Вульф. И вот парадокс — оказалось, что профессор никогда о таком писателе не слышал. Это не анекдот, уверяю тебя.

В. — Меня уверять не надо. Я сам сталкивался в США с тем, что крупных американских писателей, которых в России читает очень широкий круг интеллигенции — и инженеры, и врачи, и адвокаты, и учителя... — здесь средняя интеллигенция не знает или почти не знает.

О. — Да, да. У нас об этом была прекрасная, по-моему, статья, правда, полемически заостренная, но жанр ее и содержание вполне соответствуют друг другу. Это статья Льва Наврозова о состоянии американской культуры, и, в частности, литературы.

Мы всегда восхищались, как ты помнишь, западной литературой и культурой. Но сейчас на Западе протекает очень опасный процесс, процесс энтропии культуры, и когда мы говорим

о западной литературе, мы говорим о ее прошлом. Назови мне, к примеру, имена нынешних авторов американских или французских, которые были бы равны Фолкнеру или Камю. Все, что есть сейчас значительного во французской, предположим, литературе, относится к поколению Камю, Беккета и Ионеско. А больше ничего нет. Литература тут носит такой убогий характер, что скоро, так сказать, у нас любое тамбовское или там пензенское отделение Союза писателей будет выдавать, и уже выдает, продукцию не хуже. И это видно по всему: по телевидению, театру, кино.

Многие утешают себя тем, что мы, мол, западная культура, не замечая того, что подлинная западная культура постепенно исчезает, что ее подменяет культура потребительская, между прочим, такая же политизированная и идеологизированная. Единственное, хоть и важное, но не в смысле культуры отнюдь, различие, что здесь идеологий еще несколько. Но стоит только одной из них стать доминирующей — и конец! Советская власть в готовом виде. Вот уже министр культуры Франции открыто заявляет: "Мы строим социалистическую культуру". А мы все галдычим о соцреализме, о проклятом Максиме Горьком — такой-сякой, завел нашу литературу в тупик. Ну, куда бы Горький ее ни завел, он прежде всего был писателем, и не таким уж плохим, как многим кажется. И, кроме того, у нас в это время существовали и Ахматова, и Платонов, и Булгаков и Мандельштам. Трудно им приходилось, травили их, преследовали, но они были, писали... А здесь и в подполье никого нет. И министр культуры не какой-нибудь второразрядной в смысле культуры страны, а Франции, в конце двадцатого века, заявляет о строительстве социалистической культуры. Значит, все остальное вычеркивается. Это и есть цензура. Если министр говорит о такой культуре, следовательно, со стороны государства предпочтение будет отдаваться ей.

В. — Здесь все-таки есть пока что отличие: существуют частные издательства и частные галереи. И все же вот пример тебе в масть. Один галерейщик из Нанси захотел устроить выставку Александра Рабина. Ему нужна была финансовая поддержка от государства, и он был уверен, что ее получит. И вдруг отказ! Им, наверху, нужно, понимаете ли, искусство левое, модерн, а Александр Рабин — реалист. Вот и первые ростки цензуры, государственной, пока что только с помощью денег, без хлыста...

О. — Я об этом и говорю. Конечно, частные галереи и издательства есть. Но когда одним из них дают государственные дотации, а другим нет, то, значит, одних поощряют, а других начинают душить. Если одному писателю дают творческие стипендии, а другому нет, то последний вынужден либо принимать правила игры, либо менять профессию. Не обязательно душить радикальными методами с помощью карательного аппарата, как это делается у нас, можно и вот так: не давать дотаций, финансово закрепощать. Кстати, то же самое было когда-то в России. Финансировались только левые театры, левая литература имела приоритет над всей остальной. Лесков был, наверно, не говоря уже о Достоевском, писателем не хуже какого-нибудь Златоврацкого. Но жили Златоврацкий и ему подобные в те времена много лучше — никаких забот, никаких финансовых проблем. А почему? Потому что они были в русле доминирующих тогда общественных настроений. В чьих руках находились в начале века критика, издательства, ведущие журналы? В руках политизированных общественных кругов. Если вы не отвечали их вкусам, то вам приходилось туго. И очень. Это начало. Советская власть с неба не валится. Она приходит уже на готовое, на сложившееся общественное мнение. Я часто привожу пример с книгами Синявского — как бы я к ним не относился — и к шемьякинскому Аполлону-77. Когда представитель самого элитного слоя нашей дореволюционной интеллигенции, частично принадлежащей к серебряному веку нашей культуры, Глеб Струве, пишет об этих изданиях: "Я этого не читал, но должен сказать...", то страшно становится. Значит, не "Правда" придумала эту формулировку, а ее принесли в "Правду" те разночинные интеллигенты, которые подобные формулировки создавали еще до революции. Вся эта фразеология: *льет воду на мельницу врагов, не могу молчать* и т.д., родилась в начале века и возникла она из определенной психологии. Советская власть только внедрила эту, уже сложившуюся психологию, во все общество, внедрила с помощью карательных методов.

Я пытался протестовать, писал в "Русской мысли", что это невозможно — уехав оттуда, от тех штампов, слышать те же слова, те же штампы здесь от представителей старой русской интеллигенции... "Книгу я не читал, но должен сказать..." Мы-то над этим смеялись во времена кампаний против Пастернака и Солженицына, а, оказывается, смеяться

было нечего, оказывается, и здесь нас зачастую ждет то же самое.

В. — Володя, я думаю, что ни "Континент", ни другие, сознающие свою ответственность, русские издания, в разрушении культуры не участвуют. И взгляды свои, линию свою, в угоду определенным западным кругам, пусть даже сильным и богатым, не меняют.

О. — К сожалению, многие наши издатели и редакторы пытаются приспособиться ко всем основным процессам, которые охватывают Запад. Даже и к самым разрушительным. И считают себя при этом демократами, плюралистами и очень свободными людьми. Между тем, ведут они себя буквально по-рабски, по-лакейски. И если говорить, как это делают некоторые, о свойственном русской психологии рабстве, то как раз о рабстве можно судить по этим людям. Они постоянно заискивают перед Западом, они постоянно противодействуют тем, кто хочет трезво оценить существующую обстановку. Увы, таких изданий, я не буду называть имена, чтобы не дразнить гусей, большинство. А такие, в общем, твердо стоящие на своих позициях издания, как твоя "Третья волна", в нашей эмиграции редкость. Я не буду тебе говорить, что я в восторге от всего, что "Третья волна" печатает, что я со всем согласен. Но позиция у журнала ярко выраженная, он ее не меняет, к обстоятельствам не приспособляется.

Это, по-моему, говорит о том, что определенная часть людей, которая боролась за свои идеи там, отстаивает их и здесь. А то получается у кого-то и так: против Андропова и Черненко, против советской власти выступать можно, а вот против западного истаблишмента, против некоторых западных деятелей, которые по сути ведут себя не лучше — ни-ни. Это уже считается нарушением каких-то табу. А я говорю, что если против Андропова мог, то и против вас могу. Увы, независимых, занимающих достойную позицию наших изданий, мало — могу по пальцам одной руки перечесать. Ну, наш "Континент", ну, "Третья волна", ну, вот сейчас все очень высоко отзываются о "Стрельце". Я называю издания только третьей эмиграции. А сколько среди них есть, которые начинали достойно, но затем, поддаваясь тотальному давлению со всех сторон, принимались лавировать, угождать и не читателю вовсе, а определенным кругам. Сколько вот за последние 7-8 лет погибло издательств, газет, журналов?! Их редакторы или издатели не понимают, что привело их к краху. Ссылаются на то, на это, "Континент"

мешает, Максимов перешел дорогу... В конечном же счете они погибают от неверности самим себе, от угодничества перед сильными мира сего. Часто якобы сильными.

А издательства и журналы, которые не изменяют себе, своим убеждениям, своему мироощущению, плохо ли, хорошо ли, но держатся, стоят на ногах и, думаю, будут стоять. При всем моем критическом отношении к Западу здесь, впрочем, как и на Востоке, в конце концов получает признание и уважение тот, кто остается верным себе.

В. Знаешь, для меня это просто, это мое давнее кредо. Я еще в 1965 году писал: "А верным быть ни другу, ни жене и ни стране — себе, как высшей сути, трудней, чем пасть героически на войне. И этому не научились люди".

Но вот о чем я еще хотел спросить. Миланская конференция "Континента" на тех, кто присутствовал на ней и на тех, кто знакомился с ее материалами, произвела большое впечатление. И интеллектуальным уровнем, и атмосферой, в которой она проходила. У многих вызвало удивление то (ведь русские, считается, всегда ссорятся...), что при столь полярных точках зрения, которые там излагались, все прошло мирно, достойно, без драчек. По-моему, это очень сплотило многих людей даже разных взглядов, разных мировоззрений. Собирается ли "Континент" проводить подобные конференции в будущем?

О. — У "Континента" даже в статутах записано, что наши конференции должны проходить каждые два года. Но, как ты понимаешь, все зависит от средств. Если бы эмиграция не была бы так разбросана, сосредоточена в двух-трех местах, то много проще было бы такого рода конференции проводить. Но мы так страшно разбросаны, что для того, чтобы собрать конференцию, нужны весьма крупные финансовые средства. И если они у нас будут, а я на это надеюсь, то конференции "Континента" станут регулярными. Кстати, несколько лет назад прошла конференция "Континента" в Западном Берлине. Такого же качества она была, как миланская, и проходила в такой же атмосфере — только меньшего размера была, в более узком кругу что ли состоялась.

Я абсолютно убежден, что на таких конференциях могут собираться и спокойно разговаривать люди самые разные, исповедующие прямо противоположные эстетические и политические позиции. К сожалению, для некоторых в эмиграции скандал — перманентное

состояние, и любую конференцию они используют только для скандалов. Одной даме из таких указали на то, что в нашей литературной среде нужно восстановить ту высокоморальную и нравственную атмосферу, которая существовала в этих кругах в России. Она ответила: "Ну, с этими речами вы обратитесь к Максиму". То есть заранее отмечается высокое понятие о морали и нравственности, о каких-то этических нормах и профессиональных законах. Скандал становится целью для некоторых представителей нашей литературы и культуры. Почему это происходит, покажет будущее: свойство ли это характера или заранее запрограммированная линия. Не будем никого обвинять. Но будем помнить, что противостоят такой разрушительной работе мы можем только с помощью таких вот конференций. Может быть, необязательно проводить их под шапкой "Континента". Однако только собираясь и обсуждая наши проблемы, мы можем остаться той силой, которую были в Советском Союзе. Иначе нас ждет распад, разрушение и, в конечном счете, гибель.

В. — Заканчивая этот разговор, я хотел бы напомнить тебе, что произошло за десять лет не только со дня возникновения "Континента", но и со дня твоей вынужденной эмиграции. Как отразилось это десятилетие вне родины на твоём творчестве и видишь ли ты перспективу для развития русской литературы в эмиграции вообще?

О. — Разумеется, в условиях эмиграции, в силу ряда социальных, политических и психологических причин, а в особенности в результате отсутствия языковой среды (что, на мой взгляд, является для писателя фактором решающим) наше профессиональное и творческое существование становится куда более трудным, чем на родине, но, тем не менее, насколько я знаю, большинство моих коллег по чужбине, в том числе и я, сумели продемонстрировать читателю свою писательскую состоятельность. Уже здесь, в эмиграции лучшие представители современной отечественной словесности, такие, как Александр Солженицын и Александр Зиновьев, Василий Аксенов и Виктор Некрасов, Иосиф Бродский и Фридрих Горенштейн и в этих условиях продолжают плодотворно работать и радовать своего читателя все новыми и новыми книгами. Надолго ли нас хватит, покажет будущее. Гадать не будем, предсказания — занятие неблагоприятное.

Интервью взял А. Глезер
Париж, 27 марта 1984

НОВАЯ РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ В ПАРИЖЕ



По старинному русскому обычаю Мари-Терез де Форас преподносят хлеб-соль.

Открытие этой галереи было подготовлено всем четвертьвековым ходом развития отечественного искусства как в России, так и вне ее.

Владелица галереи Мари-Терез де Форас намерена представлять русское независимое искусство западной художественной общественности.

Эти последние годы придали несколько особое значение понятию независимости в искусстве. По существу, независимость есть неотъемлемое качество всякого искусства: оппозиция "официальное" (салонное) — "независимое" существуют скоро уже пару сотен лет, начиная со знаменитых боев между "романтиками" и "классицистами" во Франции и повсюду в Европе. Идеальный вариант, конечно, когда оба течения одинаково хороши: одно по-старому, другое — по-новому. (Так "официоз" Валентин Серов /исписавший к тому времени чуть не половину царской фамилии и немало важных особ/, встретив после долгих невстреч П. Кончаловского, разошелся и сказал: замечательно. Потом то же повторил Петрову-Водкину, начавшему свой путь).

Году в 47-м на страницах журнала "Искусство" некий академик живописи сокрушался: "Талантливый художник Лебедев уже 10 лет как заперся в стенах своей мастерской и занимается подража-

нием Ренуару". По нормальным временам звучит почти как похвала: заперся в мастерской, ориентируется на Ренуара, всецело в поисках. Ан-нет.

Обильно выставившийся и премировавшийся Кончаловский после войны создает несколько совершенно чудных картин, не лезших тогда ни в какие ворота. Его товарищи Фальк и Осмеркин к тому времени стали почти и вовсе "непроходимыми".

Цензура была столь строга, что фактически у каждого заметного художника большая часть продукции автоматически попала бы в разряд "формализма", представь он все на выставком.

Так что политическим актом независимость художника стала только с началом "оттепели", и чем дальше, тем больше.

Галерея "Мари-Терез" расположена в приятном соседстве с собором Нотр-Дам, через речку, на набережной Турнель. Тут же протянулись сундучки букинистов.

Открытие галереи собрало множество французской и русской публики. Пришли художники и искусствоведы, писатели, журналисты. Разумеется, не было никакой возможности внимательно рассмотреть картины. С большим трудом, часа через три после открытия, когда уже совсем стемнело, лавируя между гостями, я обошел эту небольшую

экспозицию из шестнадцати картин трех русских живописцев.

Из пяти работ Оскара Рабина четыре написаны в этом году. Заметно тяготение художника к линейности, графизму, более или менее строгим вертикалям и горизонталям. В "Мастерской" внимательно прописаны оконные горбыли, городской пейзаж подчеркнуто архитектурно, а окурки на подоконнике как бы накрошены.

В середине 10-х годов Борис Кустодиев написал натюрморт со 100-рублевой бумажкой (или 500?). Странно сейчас смотрится эта бывшая конвертируемая отечественная валюта, да притом одна из самых твердых в мире в то время.

Оскар Рабин назвал картину с изображением 10-франковой бумажки "Инфляция". — "Где Вы ее взяли, Оскар?". — "Я ее храню", — ответил художник.

На другом полотне — "Натюрморте с деньгами" — банкноты и кругляши скомпонованы с городским пейзажем.

Другой экспонент — Леонид Пинчевский — весь в темах и образах, привезенных из Бессарабии, оттуда, где прошло 40 лет жизни, где он обрел свое сказочное мироощущение. Его не заботит разнообразие сюжетов, он как бы хочет передать только жизненное дыхание, свечение жизни. И какая разница — чьей: моей, твоей, его...

У москвича Владимира Немухина представлены работы десятилетней давности: за граница корреспондирует с отечеством не так споро, как хотелось бы...

Работы этого художника привлекают утонченной колористической разработанностью: как специфически "немухинское" можно охарактеризовать его стремление сделать "силуэт без контура", "осанку" предмета, его весомость. Хрупкие предметы как бы балансируют на его холстах.

Безусловной заслугой галереи является то, что она установила контакты с видными русскими художниками, и с Монжеронским музеем современного русского искусства, директор которого Александр Глезер помогал Мари-Терез де Форас подбирать картины для первой выставки.

У "Галереи Мари-Терез" все еще впереди. А Россия — страна большая, и творчество в ней — дело естественное. Так что и в этом отношении, думается, все в порядке.

Анатолий Копейкин

Вадим Крейд

Судьба эрмитажной картины

В одном из лучших музеев Америки, в столичной Национальной галерее, находится один из шедевров мировой живописи — рафаэлевская "Мадонна Альба". Встреча с нею производит незабываемо освежающее впечатление, и можно понять Достоевского, который едва ли не боготворил Рафаэля, особенно за другую его работу — "Сикстинскую мадонну". "Мадонна Альба" — совершенная вещь, и не удивительно, что она является гордостью даже такого богатейшего собрания, как Национальная галерея. Однако около ста лет она была жемчужиной эрмитажной коллекции живописи. Ни одна страна с легкостью не расстанется с шедевром, который считается национальным достоянием. Поэтому неизбежен вопрос: при каких же обстоятельствах "Мадонна Альба" покинула Эрмитаж?

Рафаэль закончил эту картину в возрасте двадцати шести лет, практически в середине своего творческого пути (1509). Лет через двести она попала в Испанию и долго оставалась там в коллекции герцога Альбы. По имени владельца за картиной и закрепилось ее современное название. В начале 19 века с нею была связана романтическая история, отчасти оставшаяся покрытой "тайнами мадридского двора". Король приказал владельцам продать "Мадонну Альбу" Мануэлю де Годю, своему первому министру. Позднее же обнаружилось, что Годой был любовником королевы. Последовал громкий скандал, о котором говорили шепотом. Министр-любовник был заключен в тюрьму, а "Мадонна Альба" как собственность арестанта была продана с аукциона (1808). Затем сведения о картине снова появляются в 1820 году, когда объявленная для продажи, она была куплена за 4000 фунтов стерлингов.

И наконец в 1836 году Николай Первый, о котором нам со школьной скамьи внушалось, что был он гонителем и притеснителем искусства, купил картину для "Императорского музея". Надо сказать, что царь уплатил немалую по тем временам сумму — 14.000 фунтов стерлингов. Фунт равнялся тогда пяти американским долларам, так что 70.000 — цена за картину — тогда была почти рекордной.

Со временем в императорском музее было уже четыре картины Рафаэля, "Мадонна Альба" выделялась из их числа как самая лучшая работа Рафаэля в России, так как вообще в наследии художника она занимает выдающееся место. Надо сказать, что еще при Александре Первом эрмитажная коллекция была открыта для публики. Число посетителей при Николае Первом заметно выросло. Многие приходили специально, чтобы посмотреть работы старинных итальянских мастеров и в том числе "Мадонну Альбу". Русские художники и студенты Академии Художеств любили ее копировать. Были выпущены и продавались гравюры с нее. Словом, "Мадонна Альба" стала явлением русской культуры, а не только вообще мировой или итальянской, в частности. Что касается эрмитажной коллекции, то эта картина Рафаэля, казалось, составляет самую сердцевину ее — вместе с "Мадонной" Леонардо или "Возвращением блудного сына" Рембрандта. Советские историки любят преувеличивать недоступность Эрмитажа "для широких масс" до революции. Но сохранилась некоторая статисти-

ка: к примеру, в 1914 году в Эрмитаже побывало 175 тысяч человек, в том числе экскурсии рабочих.

В годы нэпа советские лидеры, впервые осознав себя как стабильное правительство, столкнулись с экономическим парадоксом, который затем уже лет пятнадцать не давал им покоя. С одной стороны, испытывался острый недостаток валюты. С другой, — под контролем этих лидеров скопился "товар" стоимостью в миллиарды долларов. "Товаром" были предметы старины, древние манускрипты, коллекции ювелирных изделий, включая работы Фаберже, старинная мебель из царских резиденций и дворцов аристократии, церковные древности и живопись старинных мастеров. Продавать эти ценности на международном рынке без соответствующей рекогносцировки советские вожди не решались, ибо распродажа национального достояния связана была с многосторонним риском. Факт экспорта художественных шедевров мог нанести урон советскому авторитету в международном масштабе.



В какой-то степени нужно было считаться с еще не окончательно подконтрольным общественным мнением внутри страны. Продажа награбленных вещей на зарубежных аукционах могла повлечь за собой серию судебных дел, возбужденных бывшими владельцами ценностей, и тем самым можно было скомпрометировать режим среди просоветски настроенных эмигрантов. Словом, нужно было тщательно подготовить почву для буду-

шей распродажи историко-культурных сокровищ. Отказаться же от этой идеи правительство не могло.

Международная торговля не приносила достаточного капитала. Продавать, кроме сырья, было нечего. Валюта же требовалась в неограниченном количестве, хотя бы для содержания дорогостоящего Третьего Интернационала, не говоря об иных статьях расходов. Торговый дефицит возрастал. Например, в 1924 году торговля с Америкой выражалась в следующих цифрах: 42 миллиона долларов американский экспорт и только 8 миллионов советский импорт в Америку. В 1925 году соответственно — 56 и 26 миллионов. Особенно тревожный разрыв в этих двух показателях наметился в годы первой пятилетки. Так, в 1930 году СССР ввез товаров на 114 миллионов, а продал в США на 25 миллионов.

Характерно, что этот ввоз в США состоял из спичек, марганца, асбеста и леса. Невероятно, но факт, что треть экспорта в США составили произведения искусства, проданные в 1930 году на сумму более 8 миллионов долларов.

Кроме экономических причин, были и чисто политические, если вообще эти два рода мотивировок можно было различить в контексте советской действительности. Как бы там ни было, в двадцатые годы "вожди" всерьез верили в осуществимость насильственной мировой революции. Предшествующий опыт красных диктатур в Венгрии и Баварии вселял надежду. Третий Интернационал превратился в международное подполье невиданной мощи. Советский экономический анализ показывал, что капиталистические страны стоят на пороге серьезнейшего экономического кризиса. Анализ этот был исключительным по своей точности. На конгрессе Третьего Интернационала в 1928 году была предсказана Великая американская депрессия, начавшаяся в октябре 1929 года. В том же году, когда состоялся конгресс, нарком внешней торговли Микоян сказал просоветски настроенному мультимиллионеру Арману Хаммеру: мы будем продавать произведения искусства капиталистам, так как вскоре в их странах произойдет революция, и проданные произведения вернуться назад в СССР.

Микоян выражал общекремлевскую точку зрения. Нам еще раз надо подчеркнуть, что массовая распродажа художественных и культурных ценностей впервые была предпринята Кремлем именно в 1928 году, когда было произнесено на конгрессе Интернационала упомянутое выше пророчество и когда Микоян высказал свой взгляд на будущее Хаммеру. Общеизвестно, что в 1928 году началась первая пятилетка. Говоря о ее цели, называют индустриализацию; но было бы точнее сказать — стратегическая индустриализация, смысл которой становится более ясным при сопоставлении с данными конгресса Третьего Интернационала. Кроме того, именно в том же 1928 году советское правительство начало, наконец, массовую распродажу музейных ценностей: в конце 1928 года состоялось два устроенных Советами внушительных аукциона — один в Берлине, другой в Вене.

До продажи "Мадонны Альбы" дело еще не дошло. Но Эрмитаж был уже под угрозой. Было предпринято множество шагов с целью рекламы на Западе эрмитажных сокровищ, равно как и других коллекций. В Эрмитаж был приглашен англичанин Конвэй для подробного описания музейной экспозиции и хранилищ с целью публикации своей "описи" на Западе. Брат Хаммера, Виктор, был допущен в подвалы Эрмитажа для того, чтобы он мог приобрести там практически то, что ему заблагорассудится. Семейство Хаммеров начало вывозить российские сокровища буквально тоннами. Стали появляться в зарубежных журналах невинные на первый взгляд статьи советских искусствоведов с описанием тех или

других памятников старины. В атмосфере усиленных слухов о готовящейся большой распродаже эти статьи воспринимались как рекламные объявления. Так, в 1929 году в наиболее авторитетном журнале для коллекционеров "Бурлингтон Мэджин" появилась статья о реставрации русских икон. В ней говорилось, в частности, что знатокам и ценителям до сих пор были известны иконы 14-го столетия и последующих веков, теперь же Советский Союз располагает иконами домонгольского периода. Рядом с этим закамуфлированным объявлением была приведена репродукция "Троицы" Рублева.

Многим показалось, что икону Рублева государство готово продать за хорошие деньги. Вывод этот не был просто досужим домыслом жадных коллекционеров. Ведь в те же годы Эрмитаж чуть не расстался со своим единственным Леонардо ("Мадонна Бенуа"). Дело в том, что "Мадонна Литта", также находящаяся в Эрмитаже, вызывает сомнения в своем авторстве. Но "Мадонна Бенуа" вне всяких сомнений принадлежит кисти Леонардо да Винчи; и эта картина могла быть продана иностранному коллекционеру за два с половиной миллиона. Советскому правительству было предложено два миллиона, и таким образом, сделка не состоялась.

Однако в приобретении эрмитажных сокровищ преуспели Хаммер, а также лиссабонский коллекционер, он же глава иракской нефтяной компании армянин Гульбенкян. И этот факт ввел в игру еще одного охотника на рафаэлевскую "Мадонну Альба". И эта была фигура покрупнее, чем мультимиллионеры Хаммер и Гульбенкян.

Эндрю Меллон, получив значительное наследство от своего отца, многократно приумножил его, доведя свой капитал до суммы в два миллиарда долларов. Деньги были вложены в десятки разнообразных проектов предприятий, из которых главным оставался банковский бизнес. В частной жизни это был замкнутый человек, с весьма ограниченным числом приятелей — таких же коллекционеров. Собрание Меллона было одним из лучших частных собраний в США и вскоре ему предстояло стать уже "не одним из", а самым лучшим в стране, если не в мире. Помимо бизнеса и коллекционирования у Эндрю Меллона была третья жизнь: начиная с 1921 года при трех республиканских президентах он бессменно оставался министром финансов США.

Он внимательно следил за тем, как развертывались события по распродаже Эрмитажа и ждал лишь подходящего момента. Как государственный казначей он располагал практически всей информацией о советско-американской торговле. Он легко мог предвидеть возможность многомиллионной продажи шедевров из советских музеев. Для того, чтобы заработать миллионы, Советам должны были продавать именно шедевры вроде "Мадонны Альба" Рафаэля или "Мадонны Бенуа" Леонардо. Ни на чем другом Советский Союз в торговле с Америкой не мог сделать деньги. Но раздавались авторитетные голоса против вывоза древесины из России, поскольку стало широко известно, что на лесоповале работают заключенные. Американское законодательство запрещает ввоз товаров, полученных путем применения рабского труда. Другой статьей импорта из СССР были спички, продававшиеся в Америке ниже их себестоимости. Этот вид торговли также был бесперспективен, так как советский демпинг разорял американских промышленников, занятых в спичечном бизнесе, и те, конечно, не молчали. Оставались марганец и асбест (добывался американским же концессионером в СССР), которые несмотря на их продажу по демпинговым ценам, не могли принести Советскому Союзу более чем несколько миллионов в год.

Оставался "художественный товар" высшего сорта, а Меллона интересовали только шедевры.

Между октябрем 1929 года, когда произошел знаменитый крах биржи, и январем 1930 года антикварный бизнес полностью зачах. Оживление наместилось именно в январе. Состоятельные люди понимали, что в период депрессии искусство есть лучший долгосрочный вклад капитала. Раньше других это понял Меллон. Его агент направляется в Ленинград и начинает переговоры об оптовой закупке эрмитажных картин. Переговоры ведутся в тайне, выгодной всем заинтересованным в этой сделке лицам. Весной того же года (1930) картины Эрмитажа начинают прибывать в Нью-Йоркскую гавань, а весной следующего года все картины доставлены Меллону, и он переводит миллионы долларов на советский банковский счет в Берлине.

Меллон купил 21 первоклассную картину, в том числе знаменитую "Мадонну Альба" Рафаэля, заплатив за нее 1.700.000 долларов. Его агент при покупке картины Рафаэля столкнулся с проблемой выбора. Эрмитажная "Мадонна Констабиле" принадлежит кисти юного Рафаэля, и была написана между 1500 и 1502 годами, когда художнику не было еще двадцати лет и он был учеником Перуджино. Картина исполнена в мягких тонах, и передает состояние просветленного покоя и ясной задумчивости. Мадонна изображена на фоне весеннего пейзажа и все в этой картине исполнено непредумышленной созерцательности и непосредственности.

Картина была приобретена Императорским музеем в 1870 году. Фактически это одно из лучших произведений раннего Рафаэля.

Другая эрмитажная картина мастера – "Святое семейство" – написана вскоре после "Мадонны Констабиле" но уже в ином стиле, так сказать, переходном. Конечно, это Рафаэль, но не из числа самых лучших его работ. Многоопытный галерейщик, отбиравший только шедевры для Меллона, сразу отверг эту картину.

"Мадонна Альба" не вызвала у него никаких сомнений, но здесь же было еще одно произведение Рафаэля – "Святой Георгий, поражающий дракона". Агент Меллона решил не пропустить редчайшую возможность, и картина была также куплена, даже раньше "Мадонны Альба". В 1931 году Меллон уплатил за нее около 750 тысяч долларов. К весне 1931 года два Рафаэля и еще 19 картин итальянских, испанских, французских, голландских и фламандских мастеров уже висели в личной галерее государственного казначея США Эндрю Меллона. Эрмитаж перестал быть лучшим музеем мира. Советское правительство продало Меллону два Франса Хальса, оставив Эрмитажу только две работы этого художника. Меллон купил также пять картин Рембрандта, четыре Ван Дейка и одного Рубенса. Но еще большим преступлением была продажа Меллону Ван Эйка и Боттичелли, что нанесло эрмитажной коллекции совершенно невосполнимый урон. Была также продана одна из лучших картин Тициана "Мадонна с зеркалом", а также Веронезе, Веласкес, "Распятие" кисти Перуджино, учителя Рафаэля, и одна картина Шардена, написанная им, кажется, по заказу из Петербурга.

Все эти сокровища ушли из России в обмен на 7 миллионов долларов. Это была рекордная сумма; еще никогда в истории коллекционирования не было сделано такой крупной одноразовой покупки.

Другой "рекорд" поставила "Мадонна Альба". За миллион семьсот тысяч до того времени еще не продавалась ни одна картина. И та, и другая сторона, будучи спрошенными,

отрицали самый факт купли-продажи, не говоря уже о перечне вывезенных из Эрмитажа шедевров. Советское правительство до сих пор не разрешает своим историкам искусства рассказать публике о судьбе эрмитажных картин – не только тех, что были проданы Меллону, но и о многих других. Об этом черном периоде в истории знаменитого музея говорится обычно языком лицемерных эвфемизмов. Например, бывший директор музея Пиотровский писал: "С начала тридцатых годов в музее началась перестройка всей работы, правильно названная в свое время "социалистической реконструкцией Эрмитажа". После этой "реконструкции" картины, некогда представлявшие единую и единственную в своем роде коллекцию, оказались разбросанными по разным музеям мира – от Европы до Метрополитена в Нью-Йорке, от галереи в Филадельфии и до одного из музеев Австралии, где теперь находится эрмитажный Тьеполо.

В конце своей жизни Меллон решил построить галерею в Вашингтоне, снабдить ее фондами и передать новому музею свою коллекцию, которая к тому времени оценивалась в 35 миллионов долларов. За несколько месяцев до смерти он написал Франклину Рузвельту: "Мой дорогой мистер президент! За долгие годы собирательства мне удалось приобрести значительные и редкие произведения живописи и скульптуры. Я приобретал их с мыслью, что, в конце концов, они должны стать собственностью американского народа и быть доступны ему в Национальной галерее, которая должна быть открыта в Вашингтоне..." В июне 1937 года началось строительство этой галереи, а тем временем великая распродажа искусства в СССР продолжалась. Москва остановила эту позорную торговлю не ранее 1938 года. Весной 1941 года Национальная галерея в Вашингтоне была открыта, и "Мадонна Альба", находившаяся в заточении в течение десяти лет снова стала доступна публике, хотя уже в другой части света.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА" предлагает



Нью-Йорк, 1983, ок. 320 стр. \$18.50

Выступая на прессконференции в "Доме Свободы" в Нью-Йорке 4 апреля сего года писатель Георгий Владимов (см. Новое Русское Слово за 7 апреля 1984 г., материал подготовил А. Батчан) сказал: "Но тут я читаю о выходе здесь журнала "Стрелец". Там будет опубликована новая вещь Козловского. Я хотел бы спросить: известно ли редакции этого журнала о том, что Евгений Козловский выдал всех, кто помогал ему переправлять рукописи, и даже тех, кто не помогал? В частности, у меня был обыск потому, что он назвал меня как человека, который взялся переправить его "Красную площадь", хотя на самом деле ничего подобного не было. Тем не менее они ко мне пришли. От Козловского все отвернулись. Поэтому появление его рукописи здесь мне кажется весьма странным. Редакция "Стрельца" должна отдавать себе отчет, что люди, передающие рукописи Козловского завтра же могут быть им выданы. Он ведь признался своим друзьям, что ни минуты не раздумывал: как только его позвали (!), тут же всех продал. Либо же (и это мой домысел) его рукопись передал сам КГБ для прочистки и проверки своих каналов. Все это очень странно..."

Это заявление известного русского писателя вызвало у нас недоумение.

Во-первых, в журнале "Стрелец" (№2) сказано, что "Ностальгия" — вставная новелла из романа Е. Козловского "Мы встретились в раю...", которая не вошла в книгу по чисто техническим причинам. А как известно, роман поступил по каналам Самиздата задолго до ареста Е.Козловского и последующего его постыдного поведения.

Что касается вопроса, публиковать или не публиковать произведение, создатель которого повел бы себя подобно Козловскому (находившемуся в лапах КГБ), то мы занимаем по этому поводу недвусмысленную позицию: книга или картина после того как они написаны, живут самостоятельной жизнью. Что бы ни сделал впоследствии Е. Козловский — книги его от этого хуже не стали.

Кстати, писатель Василий Аксенов назвал роман Е. Козловского "Мы встретились в раю..." "панорамным и телескопическим, свидетельствующим о жизни советской интеллигенции", а автора — "восходящей звездой русской прозы".

Таким этот роман остается и после предательства и отречения автора от самого себя и от своих произведений.

Редакторы журнала "Стрелец"
Александр Глезер,
Сергей Петрунис,
Виталий Длуги.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ПА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ПА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОТАЕННЫЙ
ПЛАТОНОВ

Сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.
180 стр. \$10.00

Чеки и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ